



В. Каверин

Освещенные окна

SHOUT **IT**
SHARE



Annotation

Книга В.Каверина представляет собой автобиографическое повествование, посвященное детству и юности. События охватывают жизнь автора с первых лет нашего века до конца гражданской войны.

В книге рассказывается о первых литературных опытах будущего автора романов "Два капитана", "Исполнение желаний", "Перед зеркалом", повестей и рассказов.

- Каверин Вениамин
 - ГОРОД ДЕТСТВА
 - СЕМЬЯ
 - СТАРШИЙ БРАТ
 - КТО Я
 - В АРХИВЕ
 - КТО ЖЕ Я?
 - ИЮЛЬ 1914-го
 - СТАРШИЙ БРАТ. УНИВЕРСИТЕТ
 - ЧТЕНИЕ
 - ПОЭЗИЯ
 - ВЕСНА 1917-го
 - ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
 - ЛЕТО 1917-го
 - ОСЕНЬ СЕМНАДЦАТОГО
 - КЛАССНЫЕ СОЧИНЕНИЯ. ПРИЕЗД ОТЦА. БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
 - НЕМЦЫ ЗАНИМАЮТ ГОРОД
 - ЧТЕНИЕ. ГЕРЦЕН
 - "КУЧКА БЕЗУМНЫХ ОРАТОРОВ ПОЛУЧИЛА ДОСТОЙНЫЙ УРОК"
 - ЛЕВКА ГВОЗДИКОВ
 - ЮРИЙ ТЫНЯНОВ. ОСЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО
 - ПРОЩАЙ, ПСКОВ
 - КОММЕНТАРИИ

Каверин Вениамин

Освещенные окна

*"Буря не утихала; я увидел
огонек и велел ехать туда".*

Пушкин

*"Надо потратить много времени,
чтобы стать, наконец, молодым".*

Пикассо

Мысль о том, что я должен рассказать историю своей жизни, пришла мне в голову в 1957 году, когда, вернувшись из автомобильной поездки по Западной Украине, я заболел страшной болезнью, заставившей меня остаться в одиночестве, хотя я был окружен заботами родных и друзей. Я впервые понял тогда, что, хотя в моей жизни не произошло ничего необыкновенного, она отмечена неповторимостью, характерной почти для каждого из моих сверстников, и разница между ними и мной состоит только в том, что я стал писателем, и за долгие годы работы научился, в известной мере, изображать эту неповторимость.

По-видимому, болезнь была следствием легкого гриппа, который в Ужгороде я перенес на ногах. Она началась с припадков неудержимой вспыльчивости, с которыми я даже не пытался бороться, как будто заранее зная, что мне не удастся их преодолеть. К чувству беспричинной досады присоединилась сильная головная боль. Звуки обыкновенной жизни, которые я прежде почти не замечал: хлопанье дверей, шаги над головой, железное гудение лифта, - теперь охлестывали меня с головы до ног. Мне казалось, что даже солнечный свет с пронзительным свистом врывается в комнату сквозь открытые окна.

Это было болезненное обострение слуха, характерное для воспаления паутинной оболочки мозга. Неутешительный диагноз был поставлен не сразу, но, когда это произошло, врач запретил мне разговаривать, писать, читать, слушать радио, смотреть телевизор. Болезнь могла пройти в течение трех недель. У меня она отняла почти три года.

Надо было уезжать из Москвы, и на откинутах сиденье "Победы" меня повезли в Переделкино, в финский домик, который я купил в конце сороковых годов. Нас обгоняли грузовые машины, и, распростертый на неудобном ложе, я снизу видел умывальники, арматуру, кровати, посверкивающее белое железо, в котором прыгали и прятались блики. Опустившая голову больная лошадь странно выглядела в кузове грузовика. Что-то растерянное было в перевернутых, перепутанных стульях. Все, что я видел, казалось мне таким же беспомощным и опрокинутым навзничь, как я.

Но вот Москва осталась позади. На Минском шоссе нас стали

обгонять автобусы - школьников везли в пионерский лагерь. Они смотрели на меня, и с болезненной застенчивостью я встречал их серьезные взгляды.

Доехали, и по лицам родных я понял, что очень изменился за последние дни. Но другое сразу же стало мучить меня. Пес радостно залаял, встречая хозяина, и я чуть не упал от толкнувшей тупой боли в ушах.

2

Со мной разговаривали, еле шевеля губами. Голоса в саду доносились отчетливо, резко, и мне казалось, что родные невнимательны и равнодушны ко мне.

Недели три я лежал один. Потом стали заглядывать друзья, и одним из первых пришел Корней Иванович Чуковский. .

- Дорогой мой, да вы даже не догадываетесь, как вам повезло,-сказал он.-Лежать целый день под зонтиком, в халате. Вдруг вырваться из всей этой суеты, литературной и прочей. Никуда не торопиться! Оглядеться, очнуться! Да вам только позавидовать можно.

Халаты я ненавидел и никогда не носил. На зонтик, напоминавший о том, что солнце запрещено мне надолго, смотрел я с отвращением. Вряд ли кому-нибудь пришло бы на ум завидовать больному, который со стоном хватался за голову после десятиминутного разговора. И все-таки Корней Иванович был прав. Все, что еще недавно занимало меня, отступило в сторону, потеряло значение. Я остался наедине с собой, я остановился с разбега. Задумался - и началось то, что до сих пор происходило только в часы бессонницы: всматривание в себя, воспоминания.

"Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? - писал Герцен.-Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность еще не имела, то уже утрачено, о чем юность мечтала без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева".

Так ко мне вернулось детство, которое судит и приговаривает "без личных видов", беспристрастно и строго.

Няня Наталья берет меня с собой в баню, и, оглушенный гулким стуком шаек, плеском шлепающейся воды, наплывающими и тающими облаками пара, я делаю открытие: у женщин есть ноги! Последнее младенческое впечатление покидает меня: до тех пор мне казалось, что у женщин ноги начинаются там, где кончается юбка.

...Мы живем на Завеличье, в казенной квартире. Раннее летнее утро. Я слышу отрывистые команды фельдфебеля Лаптева, солдаты маршируют по розовому, косо освещенному солнцем чистому плацу. Мне четыре года. Я лежу в широкой постели между отцом и матерью и, полупроснувшись, чувствую, как широкая твердая рука отца тянется к матери через меня. Почему я начинаю бороться с этой рукой? Кажется, мать стыдит отца, а он смеется, и мне почему-то становится страшно, когда я вижу его белые, светящиеся из-под усов, красивые зубы.

Мне еще не было шести лет, когда я понял, что такое бессонница. Я забыл уснуть, как Саша, мой брат, идя в гимназию, забывал дома завтрак. Я задумался, и минута, когда я засыпал, прошла. Теперь нужно было ждать, когда снова придет эта минута,- следующей ночи.

Это было грустное и странное чувство - все спали, весь дом, весь город, и только я один лежал в темноте с открытыми глазами. Потом это стало повторяться: задумываясь, я забывал уснуть и уже заранее ждал и боялся, что в эту ночь снова забуду. Я лежал и думал. Беспокойство, о котором я прежде не имел никакого понятия, овладевало мною: все ли дома? Отец ложится не поздно, но мать иногда возвращалась с концертов после полуночи, я представлял себе, как она идет по Кохановскому бульвару, где в прошлом году зарезали женщину, и мне становилось страшно. Я спал в маленькой комнате, переделанной из чулана, и мне было слышно все, что происходило в доме. Помню, как однажды я стал беспокоиться: дома ли Преста? - у нас собак всегда называли музыкальными именами: Легата, Стакката... Черный ход запирался на тяжелый засов, который я не мог отодвинуть, и пришлось лезть во двор через кухонное окно. Земля холодила босые ноги, и было страшно, что на дворе так темно, но еще страшнее, что меня могут увидеть. Я прошел заброшенное место вдоль забора, обогнул дом. Сонная толстая Преста вышла из будки и лениво лизнула мне руку.

Все тише становилось в доме. Вот легла мать, Саша в соседней комнате с кривым полом сунул под подушку "Пещеру Лейхтвейса" и мгновенно заснул. Вот и отец прошуршал

прочитанной газетой, погасил свет, захрапел. Теперь спал весь дом, и только я лежал и думал.

...Лавочник, немец, красный, с седой бородой, говорит тоненьким голосом. Мы с мамой заходим к нему, покупаем масло - восемнадцать копеек фунт. Неужели правду Сашка сказал, что у него серебряная трубочка вместо горла?

...В лавке Гущина пол посыпан опилками. Арбузы - горками. В ящиках - апельсины. Он - почтенный, в белом переднике, разговаривает не торопясь, все время улыбается. А нянька сказала, что он собственную дочь согнал со света. Куда согнал? Она говорит: "сжил"...

...Старик Розенштейн ходит в генеральской шинели. Отец сказал - из кантонистов. Отставной генерал, в семье каждый год кто-нибудь кончает самоубийством: сперва - студент, а этой весной - епархиалка Вера. Я один раз ее видел - румяная, с косой. Выбросилась из окна. Интересно, сколько у Розенштейна детей? Кажется, много. Все равно жалко.

...Мама каждое лето подумывает снять дачу в Черняковицах, там дешевле, никто не снимает, потому что рядом дом сумасшедших. Почему отец как-то жалко захохотал, когда поручик Рейсар с серьгой в ухе спросил: "Правда ли, что вы собираетесь снять Ноев ковчег?" Отец - бравый, с усами, на груди медали, и все смотрят на него, когда, махая палочкой, он идет сразу за командиром полка впереди своего оркестра.

Почему "делают визиты"? Офицер с женой приходят, сидят десять минут и уезжают. Мама провожает их. Гордо откинув голову, она хлопает в ладоши: "Эй, люди!" Но в доме нет никаких людей, кроме денщика и няньки.

Почему "сходят с ума"? Значит, на нем стоят или сидят, если потом с него сходят?

...Губернатор в треуголке и в белых штанах проехал на парад.

...Город проходил передо мной: сумерки, освещенные окна магазинов, вечернее небо по ту сторону реки, где поля. Сергиевская, Плоская, сбегающая к набережной. Крепостной вал, соборный сад. Все знакомое-перезнакомое. Чайный магазин Перлова с драконами, игрушечный магазин "Эврика". Сейчас все спят. Брошены с размаху, не заперты железные ставни. И губернатор спит, сняв белые штаны и положив на стул треуголку. И в других городах все спят - мальчишки, и губернаторы, и кучера - нянькины мужья, и няньки. Во всем мире не сплю только я, подпирая голову рукой и глядя в темноту, из которой что-то выступает, шевелясь и меняясь. Я похудел, побледнел, перестал расти - и было решено поить меня вином Сан-Рафаэль "Друг желудка", для укрепления здоровья. Приходила мать - полная, в

пенсне - и, запахивая халат, давала мне рюмочку вина с печеньем. Я выпивал вино, съедал печенье, и сперва это было интересно, потому что я не просто не спал, а ждал, когда придет мама. А потом стало все равно.

- О чем ты думаешь? - спрашивала нянька.

- Не знаю.

- Беда мне с этим ребенком,- говорит мать. - О чем-то все думает, думает.

Обо мне заботились, потом забывали. Нянька была убеждена, что все-от бога. И это было, по-видимому, совершенно верно, потому что бог каждую минуту упоминался в разговорах. "Боже сохрани!", "Боже мой!", "Бог его знает!", "Ну тебя к богу!" и т. д. Он был господом, не господином, а именно господом: ему молились, его просили. У католиков и православных был свой бог, а у евреев-свой. И они чем-то отличались друг от друга, хотя увидеть даже одного из них, было, по-видимому, невозможно. Он мог, оказывается, все, если его очень попросить, то есть помолиться. Но вот нянька молилась ему каждый день и была даже какой-то старой веры, о которой говорили, что она крепче, а все-таки ее муж, губернаторский кучер, проворовался, украл хомуты и теперь сидел в тюрьме. Сперва она молилась, чтобы его выпустили, но его не выпустили, а потом, когда в нее влюбился актер Салтыков, стала молиться, чтобы не выпускали. А его, наоборот, выпустили. Он приходил пьяный и грозился, и все от него убежали. Только мама вышла, гордо подняв голову, поблескивая пенсне, и сказала: "Эх, Павел, Павел",- и он заплакал и стал биться головой об пол.

Словом, бог поступил с нянькой несправедливо, и на ее месте я не стал бы молиться ему каждый день. Саша вообще говорил, что бога нет и что он один раз испытал его, сказав: "Бог - дурак",- и ничего не случилось. Но почему же в таком случае строят соборы и церкви, и подрядчик Звонков нажил на постройке какой-то церкви сто тысяч, и наш собор стоит уже двести или триста лет?

Нет, бог есть. Нянька говорит, что есть еще и черти и что они богатые и бедные, как люди. Бедные сидят тихо, а богатые шляются и безобразничают, потому что им все равно нельзя попасть в рай, поскольку они все-таки черти.

Подпирая голову рукой, я думал и думал. Нянька тайком от матери поила меня маковым настоем. Она очень жалела меня, но была нетерпелива и не могла, заставить себя сидеть у моей кровати, потому что актер ждал ее у черного хода. Это была "трагикомедия", как говорила мама. Нянька водила нас в Летний сад, актер подсел к ней и влюбился, хотя ему было двадцать шесть лет, а ей - под сорок. Труппа, в которой он играл, уехала, а

он остался. Старший брат, присяжный поверенный из Петербурга, приезжал к нему уговаривать, но он так сильно влюбился, что уже не смог уехать, а, наоборот, поступил в духовную консисторию, оставшись совершенно без средств. Каждый вечер нянька бегала на черный ход, и они долго разговаривали шепотом в темноте. Потом она приходила счастливая, потягивая концы платка под подбородком, смущенная, как девочка, и говорила: "Опять не спит. Ах ты, горе мое!" Я видел, что ей хочется к Салтыкову, и говорил: "Иди, няня, ничего, я засну". Ей было жаль меня, но она все-таки уходила. Значит, в мире не спал уже не я один, а еще актер Салтыков и нянька.

Это было все-таки легче - думать, что они тоже не спят, хотя я решительно не понимал, что они делают и о чем так долго разговаривают в темноте у черного хода.

В конце концов, разрываясь между чувством, долга и любовью, нянька притащила актера ко мне. И он оказался прыщавым малым с длинным туповатым, добрым лицом.

Потом я узнал, что он был не только актером, но и поэтом. Но, конечно, самое странное заключалось в том, что он влюбился в мою старую няньку! Он не стал говорить мне, как Саша: "Дурак, ну чего ты не спишь? Повернись на бок и спи!" - а тихонько подсел на кровать и стал ласково рассказывать что-то. Наверное, это была сказка про Иванушку и Аленушку, потому что я помню, как он все повторял: "Копытце, копытце". И ночь, которая проходила где-то очень близко от меня-так близко, что я слышал рядом с собой ее шаги и мягкое, страшное дыхание,-переставала страшить меня, и сон подкрадывался незаметно, когда я переставал его ждать.

Так я вернулся в город моего детства. Я понял, что жил в этом городе, не замечая его, как дышат воздухом, не задумываясь над тем, почему он прозрачен. Теперь он возник передо мной сам по себе, без той посторонней необходимости, которая диктовалась формой рассказа или романа.

Я вспомнил жизнь нашей большой, беспорядочной театрально-военной семьи, "управлявшей денщиком и кухаркой", как сказал на вечере, посвященном памяти моего старшего брата, один из его гимназических друзей. Я вспомнил, как незадолго до первой мировой войны семья стала клониться к упадку и мы должны были переехать из квартиры в доме

баронессы Медем на Сергиевской, главной улице города, в другую, более дешевую квартиру на Гоголевской. Одноэтажный деревянный дом принадлежал "лично-почетному гражданину Бабаеву", как было написано на дощечке у ворот. И сам лично-почетный гражданин появился передо мной, как экспонат музея восковых фигур,-пожилой, коротенький, с толстенькими, точно подкрашенными, щечками, с выцветшими глазками, с удивительно пышно взбитыми табачно-седыми усами.

Мелочи, казавшиеся давно забытыми, возникли перед моими глазами: шпаги отца, которыми мы фехтовали,- при парадном мундире он должен был носить шпагу; бронзовый Мефистофель; пепельница из крышки черепа, исписанная изречениями; длинная запаянная трубка с розовой жидкостью - эти предметы стояли и лежали на письменном столе старшего брата. На черепе красными чернилами было написано: "Memento mori". Старший брат говорил, что розовая жидкость - это яд кураре.

Кантата, которую мы разучивали к трехсотлетию дома Романовых, донеслась откуда-то издалека, и я увидел Ивана Семеновича, классного надзирателя и учителя пения, усатого, с крепким носом, подпевавшего себе хриплым басом и неожиданно щелкавшего палочкой по лбу фальшивившего или задумавшегося певца:

Была пора, казалось, сила
Страны в борьбе изнемогла.
И встала Русь и Михаила
К себе на царство призвала.

5

...Медленно, нехотя, но моя болезнь все-таки отступала. Мне разрешили смотреть картинки, и я получил журнал "Искры" за 1912 год - это был год моего поступления в гимназию. Летчик Дыбовский, совершивший "огромный перелет" из Севастополя в Москву, был стрижен ежиком, добродушен, носат. Фельдмаршал фон дер Гольц-паша реорганизовал турецкую армию. Члены Четвертой Государственной думы были странно похожи.

Когда у меня окрепли руки, я стал вырезать фигурки из сосновой коры. Я вырезал Буратино, потом бородатого, одноглазого сапожника, потом Дон Кихота, читающего огромную книгу. Прибавив к сосновой коре бересту, я вырезал двух бессмысленно бравых павловских солдат, в высоких киверах и белых штанах. Картинки мешали мне вспоминать, а резьба

помогала. Эти фигурки и до сих пор стоят на полочках в моем кабинете.

Наконец мне разрешили писать (сперва десять минут в день, потом -двадцать), и я принялся за свои воспоминания - с шести лет, хотя мог бы начать с двух с половиной.

Так была написана книга "Неизвестный друг". Оглядываясь на свое прошлое, я не могу обойти ее. Но она неполна, многое в ней не рассказано, а рассказанное настроено на ломающийся голос мальчика, с трудом привыкающего к собственному существованию...

Я назвал ее повестью, изменив имена друзей и родных. Годы унесли их, и ничто отныне не мешает мне вернуться к подлинности как в этом случае, так и в десятках других. Теперь главы "Неизвестного друга" стали для меня чем-то вроде оживших иллюстраций. Время от времени читатель будет встречаться с ними в моем повествовании.

6

Кажется, я был способный мальчик. Но странное оцепенение время от времени охватывало меня. Задумываясь над сопоставлением общих понятий, я не замечал частных, и эта черта осталась на всю жизнь. Каким-то образом она соединялась с уверенностью, что ничто плохое мне не угрожает. Возможно, что это чувство было подсказано самой природой. Ведь деревьям, травам, насекомым, почти всему животному миру не свойственно ожидание несчастья или даже какой-либо неудачи.

Много лет и даже десятилетий прошло, прежде чем пошатнулось это спасительное ощущение. Осенью 1911 года оно помешало мне поступить в подготовительный класс Псковской губернской гимназии.

Гимназистка восьмого класса Маруся Израилит - верный кандидат на золотую медаль - была приглашена, чтобы пройти со мной арифметику: считалось, что я пишу и читаю прекрасно.

Она приходила сдержанная, гладко причесанная, в белой, только что отглаженной кофточке, и мне казалось, что все вокруг становилось таким же чисто вымытым, даже слегка накрахмаленным, во всяком случае совершенно другим. Наскоро отметив крестиком несколько задач, она скрывалась в комнате старшего брата, и я долго не мог понять, о чем они говорят негромкими взволнованными голосами, как будто ссорясь и сержась друг на друга.

Расстроенный, я сидел над задачей, и мысль уносилась бог весть куда - в те далекие края, где никто не занимался арифметикой и где таблица умножения была никому не нужна. Мне было немного стыдно за Марусю, которая-я это знал - вернется раскрасневшаяся и с виноватым видом станет торопливо проверять мою работу. Потом я возвращался к задаче, и если в ней говорилось о купцах, отмерявших сукно какими-то локтями, мне представлялись эти купцы - толстые, с румяными скулами, угодливые и наглые, торговавшие в суконных рядах. Если в задаче говорилось о бассейне с трубами, мне представлялся этот бассейн за стеклянной стеной, по которой скользили молчаливые тени. Слышался плеск и, так же как из комнаты брата, тихие, таинственные, по временам умолкавшие голоса.

Все это кончилось тем, что я провалился. Возможно, что в этом была виновата Маруся - недаром она волновалась гораздо больше, чем я, и по дороге в гимназию насильно заставила меня съесть три трубочки с кремом, которые я с тех пор навсегда разлюбил.

...Когда учитель Овчинников, лысый, маленький, с гладкой красной шишкой на темени, на которую почему-то все время хотелось смотреть, написал очень легкий пример на доске, я энергично принялся за дело и решил его в десять минут. Ответ получился странный, с дробью, а между тем дроби - это я твердо знал - не проходили в приготовительном классе. Похоже было, что я неправильно решил пример, и, пожалуй, стоило проверить его, прежде чем приниматься за второй. Все же я принялся, но бросил, потому что мой сосед, мальчик с большой курчавой головой, взглянул в мою тетрадку и отрицательно покачал головой. Подумав немного, я вернулся к первому примеру, а потом встал и оказал негромко, но так, чтобы это услышали все:

- Михаил Иванович, у меня не выходит.

- Ничего, еще есть время,- ответил он.- Подумай.

Я сел и послушно стал думать. Но думал я уже о том, что до конца экзамена осталось только двадцать минут, потом пятнадцать, десять... Ожидание неслыханного события переполняло меня. Это было так, как будто не я, а кто-то другой с лихорадочной быстротой решает пример, а я с нетерпением жду, когда же наконец станет ясно, что он его не решит.

Опять получилась дробь, на этот раз какая-то невероятная-периодическая, как я узнал позднее. Я снова поднялся и на этот раз уже не сказал, а оглушительно заорал, так что весь класс вздрогнул и с изумлением посмотрел на меня:

- Михаил Иванович, у меня не выходит!

Не знаю почему, но я был уверен, что Михаил Иванович

сейчас подойдет ко мне и пример не только будет решен, но это произойдет незаметно для всего класса, а может быть, и для меня самого. Но Михаил Иванович только пожал плечами.

- Ну что ж, давай сюда, если больше ничего не выходит.

Прозвенел звонок. С необъяснимым, почти радостным возбуждением я сунул свою работу в кучу других - Овчинников собирал их, проходя вдоль рядов, - я вышел в коридор, где меня ожидали взволнованная, с красными пятнами на щеках Маруся и всегда спокойная, с гордо откинутой назад головой, в пенсне, моя мать.

- Решил?

Я сказал, что решил, но не совсем, и что, наверно, будет пятерка с минусом, потому что ответ немного не тот.

Маруся с виноватым видом посмотрела на мать.

- То есть как не тот? - спросила она.

- У Саши Гордина, это был мой сосед, без дроби, а у меня почему-то с дробью. Но вообще-то почти у всех с дробью.

Я уже врал, и мне почему-то становилось все веселее...

Не прошло и двух недель, как я снова засел за арифметику - на этот раз в надежде весной выдержать в первый класс.

7

Это была первая неудача в моей жизни, и теперь, размышляя о том, как и почему она произошла, я не склонен винить в ней Марусю, на которой старший брат женился, едва окончив гимназию. Я провалился главным образом потому, что не мог представить себе, что могу провалиться. Я был уверен, что со мной не может случиться ничего плохого. Когда на экзамене это плохое с роковой неизбежностью стало приближаться ко мне, явилось другое чувство - ожидание чуда. Чуда не произошло, и тогда, как бы заранее вооружаясь, я стал торопить ту минуту, когда станет ясно, что я провалился. Зато потом, когда неудача совершилась, я постарался возможно скорее забыть о ней - и оказалось, что это легко, может быть потому, что я и встретил ее легко, без напряжения.

В других воплощениях этот экзамен повторялся в моей жизни не раз.

Нельзя сказать, что я много успел за зиму, хотя был приглашен требовательный преподаватель Михаил Алексеевич Голдобин, маленький, с крестьянским рябоватым лицом, редко улыбающийся, в очках. Ему предстояло пройти со мной не только

арифметику, но и русский. Мать просила его проследить за моим чрезвычайно беспорядочным чтением.

Мы занимались, а потом я провожал его в Петровский посад, где он снимал маленькую комнату, за три рубля в месяц. Хотя он скупко рассказывал о своем детстве, я вскоре понял, что для него не нанимали преподавателя по полтиннику за урок. Неопределенное чувство своей вины перед ним сопровождало наши уроки. Я вырос в небогатой семье, денег постоянно не хватало, сестре, учившейся в Петербургской консерватории, надо было посылать 25 рублей в месяц. Михаилу Алексеевичу, в его потертой чистой тужурке (он был студентом Псковского учительского института), в неизменной ситцевой косоворотке, никто ничего не посылал, напротив, он сам еще помогал своим деревенским родным. Несправедливость неравенства, о которой я неясно думал и прежде, вдруг представилась мне с такой очевидностью, как будто я отвечал за нее.

Я вскоре влюбился в Михаила Алексеевича, но не стал подражать ему. У меня был другой предмет обожания, и об этом я еще расскажу. Мне просто захотелось, чтобы Михаил Алексеевич догадался, что, несмотря на мои посредственные способности, я заметно отличаюсь от других его учеников. Чем? Этого я еще не знал.

Еще летом я прочел тургеневские "Записки охотника". Провожая Михаила Алексеевича, я хвастливо оказал ему об этом, и он спросил, кто мне больше понравился - Калиныч или Хорь.

Конечно, Калиныч, с его кротким и ясным лицом, с его беззаботностью и любовью к природе, нравился мне гораздо больше, чем Хорь. В Калиныче было что-то таинственное, даже волшебное, недаром он умел "заговаривать кровь". Напротив, Хорь был скучно-деловит и напоминал мне бородатого городского на Сергиевской, которого я почему-то ненавидел.

- Хорь,-ответил я твердо.

Михаил Алексеевич удивился:

- Хорь?

- Да.

Он снял и быстро, недовольным движением протер очки.

- Э, брат, да ты далеко пойдешь,-заметил он как будто вполне спокойно. Тогда я ненадолго задумался о том, почему я солгал - и так невыгодно для себя солгал. Но недаром этот незначительный случай запомнился мне. Впервые мне захотелось не быть тем, кем я был, а казаться тем, кем я на самом деле не был. Впоследствии я не только в себе стал узнавать эту черту. Михаилу Алексеевичу я солгал с единственной целью - заставить его удивиться, заинтересовать его неожиданностью своего выбора и, стало быть,

собой. В тысячах других встреч я научился представляться другим отнюдь не из желания удивить собеседника. Напротив, я как бы становился в известной мере этим собеседником, от которого подчас зависела моя судьба, или судьба моих близких, или тех, кто нуждался в моей поддержке.

Не помню, почему на весеннем экзамене в первый класс я снова провалился. Может быть, потому, что Михаил Алексеевич месяца за два до экзаменов уехал на родину, а я записался в городскую библиотеку.

...Перед диктовкой тот же лысый Овчинников сказал нам, что, находясь в сомнении, мы должны не исправлять букву, а зачеркнуть слово и вновь написать его в исправленном виде.

- Если, скажем, ты написал "карова",- он показал на доске, - так не исправляй десять раз "а" на "о", а зачеркни и напиши "корова".

Наставление запомнилось, и с тех пор я всегда поступаю именно так.

Диктовку я написал недурно, пропустив только две-три запятые, стихотворение:

Румяной зарею
Покрылся восток,
В селе за рекою
Потух огонек,-
прочитал превосходно.

Кажется, я провалился по грамматике. Мне всегда казалось бессмысленным, что для поступления в гимназию надо знать, что стул - имя существительное, а гулять или читать - глагол. Впоследствии, в студенческие годы, когда я учил китайцев русскому языку, они никак не могли понять, что именительный падеж - все-таки падеж, хотя слово остается неизменным. Очевидно, нечто подобное произошло со мной, и Овчинников хладнокровно поставил мне двойку.

Решено было - ничего не поделаешь,- что осенью буду снова держать в приготовительный класс.

На этот раз я сдал на круглые пятерки и наконец надел гимназическую фуражку, нимало не смущаясь тем, что она досталась мне так тяжело. Гимназия к тому времени была переименована из "Псковской губернской" в гимназию "Александра Первого Благословенного", гербы были большие и маленькие. Конечно, я выбрал большой. К сожалению, в приготовительном классе еще не носили форму. Я надевал фуражку и выходил на балкон, чтобы все проходившие мимо могли убедиться, что я наконец гимназист.

Вскоре мама купила мне форму. Надев длинные брюки и

черную куртку со стоячим воротником, туго затянувшись ремнем с металлической пряжкой, я имел полное право чувствовать себя не только самим собой, но еще и молодым гражданином Российской империи.

Отца дети называют на "ты", а мать на "вы". Она выше среднего роста, сдержанная, с гордой осанкой, полная, в пенсне, близорука.

На углу Плоской и Великолуцкой-вывеска: "Бюро проката роялей и пианино". Бюро помещается во втором этаже, а в первом "Специально музыкальный магазин". Буквы-затейливые, с хвостиками. Слово "специально", вызывающее (я заметил) улыбку у приезжих из столицы,- для тех, кто заходит в магазин и спрашивает муку или гвозди.

Три или четыре рояля стоят в просторной комнате на втором этаже. Остальные - в частных домах, на прокате. Бухгалтерия - кто и когда должен заплатить за прокат - содержится в маленькой зеленой книжечке, которую мать время от времени теряет, и тогда поисками начинает заниматься весь дом. В 1918 году книжечка так и не нашлась - рояли и пианино остались там, где они стояли на прокате, и, помнится, меня удивила беспечность, с которой мать отнеслась к этому разорившему нас событию.

Мне никогда не удавалось вообразить ее молодой. Она всегда была серьезна, озабоченна и грустна сознанием неудавшейся жизни. Вдруг блеснувшая беспечность впервые заставила меня взглянуть на нее другими глазами. Я почувствовал, что это была ее, быть может, последняя молодая черта.

Иногда - очень редко - рояль или пианино продавались, и тогда мать почему-то называла их "инструментами".

- Прекрасный инструмент,- гордо говорила она и, садясь на круглый вертящийся стул, пробегала по клавиатуре звучным пассажем.

Мать окончила Московскую консерваторию, много читала. Она держалась прямо, откинув плечи, и ее пенсне поблескивало независимо, гордо. А отец был солдатом музыкантской команды лейб-гвардии Преображенского полка и с трудом добрался до звания капельмейстера. Мать уважали в городе и даже побаивались. К отцу относились с оттенком иронии. Он был невысокого роста, могучего сложения, с широкими плечами. Мать принадлежала дому, семье и была главой этой семьи и дома. Отец приходил из полка, обедал, ложился спать, иногда загадочно "уходил в Петровский посад" - и жил в своей семье постояльцем.

Он был бешено вспыльчив, скуп и прямодушен. Мать любила говорить, что он всю жизнь махал своей палочкой, а он называл ее "мое несчастье" и любил повторять: "Дураком, дураком". Это означало, что двадцать пять лет тому назад он был дураком, женившись на маме.

Музыка и армия были для него понятиями незыблемыми. Все дети учились музыке. Квартет, состоящий из моих сестер и братьев, выступал на вечерах в офицерском собрании. Когда отец служил в Преображенском полку, Александр Третий на концерте вызвал его в свою ложу и наградил за соло на кларнете золотыми часами. Они лежали на столе. Впрочем, мать говорила, что часы - поддельные. "Тоже хорошие, но копия", - прибавляла она небрежно. Подаренные императором часы отец потерял во время перехода Омского полка из Новгорода в Псков.

В многолетнем браке незаметно утверждается машинальность, незамечание друг друга. Смотритель маяка в одном из романов Гамсуна смотрит сквозь жену, как сквозь стекло, она для него уже почти не существует. Психологическая пустота переходит в физическую, стертость отношений зеркально отражает машинальность существования. В отношениях между моими родителями не было этой машинальности, позволяющей молчаливо терпеть друг друга. Когда отец устраивал скандалы, у него становилось страшное лицо, лоб разглаживался, губы набухали, и он оглядывался, побледнев, - искал, что бы ему сломать, сокрушить, уничтожить. Он был скуп, но в эти минуты ничего не жалел и однажды с такой силой трахнул об пол дорогую Психею, что она рассыпалась в порошок. Саша исследовал этот порошок и обнаружил, что статуя была из гипса.

Я был еще так глуп, что ходил в портняжную мастерскую Сырникова, во флигеле на дворе, и рассказывал об этих скандалах. Портные, скрестив ноги, сидели на низких столах, отполированных задами до блеска. Кто-нибудь начинал мурлыкать или петь и вдруг громко откусывал нитку. Потом вносили огромный пылающий утюг, из которого летели искры, и белый, пахнувший сукном пар поднимался от гладильной доски.

Мне нравилось ходить к портным - мои рассказы имели успех. Однажды сам Сырников слез со стола, корявый, с иронически поджатой ноздрей и длинными, оборванными в драке усами, и сказал: "Врешь", когда я стал хвастаться, что старший брат такой силач, что может скрутить отца, если он будет очень скандалить. Но я никак не мог объяснить портным, почему начинались эти почти ежедневные ссоры. Когда мама или сестра покупали себе что-нибудь новое или приходила портниха, отец быстро говорил: "Шляпки-тряпки, шляпки-тряпки", - и женщины

горячо негодовали. Он сердился, когда кто-нибудь забывал погасить свет или ломал стул; особенно его заботила судьба некрасивых стульев, которые он сам давным-давно купил в Петербурге. Стулья были дубовые, и когда они ломались, это было как бы примером того, что даже дуб не может выдержать беспорядка, творившегося в доме. Как полагал отец, беспорядок заключался в том, что все делалось не так, не вовремя и деньги летят на ветер. А в доме капельмейстера Красноярского полка, наоборот, все делается вовремя, а денег уходит вдвое меньше.

Упрекая мать за беспорядок, свою комнату он никому не позволял убирать. На письменном столе валялись разнообразные музыкальные инструменты - считалось, что отец их чинит, хотя однажды я убедился, что он целый месяц клеил какую-то камышовую полоску для флейты. В комнате пахло фиксатуром. Здесь и там висели форменные офицерские брюки. Порядок был только в том ящике письменного стола, где лежали ордена и медали. Медалей и разных почетных знаков было множество, но все какие-то незначительные - члену императорского Общества опасения на водах или в честь юбилея Преображенского полка.

Потом, когда я подрост и перестал рассказывать сырниковским портным о наших скандалах, мне стало казаться, что отец устраивает их не потому, что надеется таким образом добиться порядка, а потому, что его не уважали в семье.

В ссору, то тлевшую, то разгоравшуюся, стали с годами вмешиваться подраставшие дети. Были ничтожные поводы, возникавшие из-за самой атмосферы распадавшегося дома. Но были и события, требовавшие выбора между отцом и матерью, неотложные решения, опасные повороты.

2

Я помню солнечный день ранней осени, блеск двери, полуоткрытой в спальню родителей, вкус яблока, которое я держу в руке и с хрустом закусываю, зажмурившись от счастья, потому что все это - блеск двери, праздничность солнца, яблоко - соединяется в еще небывалое чувство счастья. В спальне спорят. Мать появляется на пороге с письмом в руке. Никогда прежде я не видел ее плачущей. Как бы она ни была расстроена или огорчена, только голубоватая жилка билась на виске - все знали, что это значит. Теперь пенсне беспомощно висит на длинном шнурке, близорукие глаза покраснели от слез. "Они все умрут там, все умрут..." - что-то говорит она с отчаяньем, ни к кому не

обращаясь.

Письмо было из Новгорода. Там жили ее родители и брат, Лев Григорьевич Дессон, известный пианист. Мать гордилась им, хранила афиши его концертов. Великий Падеревский лестно отозвался о его игре - рассказ об этом повторялся так часто, что я выучил его наизусть. Брат жил той жизнью, о которой некогда мечтала она, в его судьбе свершились ее неоправдавшиеся надежды.

Все было кончено теперь - он заболел какой-то неизвестной неизлечимой болезнью и в тридцать лет стал беспомощным калекой.

Так началась болезненно врезавшаяся в память, надолго установившаяся полоса жизни нашего дома. Вопреки настояниям и даже угрозам отца, мать перевезла родителей и больного брата в Псков, сняла для них квартиру на Пушкинской улице, постоянно поддерживала их, старалась смягчить отца - и были редкие дни, когда это ей удавалось.

Приехал дед Григорий, высокий, молчаливый, с тонким лицом, с рыже-седой бородой и задумчивыми голубыми глазами. Приехала кругленькая, толстенькая, хлопотливая, говорливая бабка Люба. Приехал дядя Лев, неузнаваемо изменившийся, на костылях, с шаркающими ногами. Он был в старомодном бархатном пиджаке, в измятых штанах, но кокетливый шелковый бант был, как прежде, повязан на шее. Еще надеялись на его выздоровление. Он лечился, но врачи не помогали, и тогда няня привела знахаря из Петровского посада, который должен был приказать больному пианисту отбросить костыли и начать ходить, как здоровые люди.

Явился решительный старичок, с бородкой, с уверенно поджатыми губами. Из грязноватого клетчатого платка он вынул и повесил на грудь маленькую иконку.

В комнате дяди собралась вся семья. Нянька громко хвалила знахаря. У мамы на виске сильно билась голубая жилка.

Мелко постукивая стоптанными сапогами, старичок приблизился к дяде:

- Встань, раб божий!

С трудом опираясь на костыли, дядя поднялся с кресла. Знахарь грозно нахмурился. В его подслеповатых глазках мелькнула сумасшедшая искра. Он поджал губы и покрутил головой.

- Костыли прочь! - вдруг оглушительно закричал он.

Костыли упали. Дядя сделал один неуверенный шаг и рухнул на ковер, который, не особенно надеясь на успех лечения, заранее расстелила мама...

Знахарь получил гонорар и молча, с достоинством удалился. Нянька запила - в ту пору она уже начала пить. К историям, которые рассказывал больной пианист, прибавилась еще одна, по его мнению - самая смешная.

...Прошло два-три года, дед Григорий умер, бабка осталась с дочерью, а дядя поселился у нас, в маленькой комнате направо от прихожей, с окном, выходящим на узкую часть двора.

Теперь трудно было представить себе наш дом без стука его костылей. Иногда он выходил посидеть на крыльцо - зимой в потертой шубе и бобровой боярской шапке, а летом в нарядном пиджаке, который был некогда сшит знаменитым венским портным. Костыли он пристраивал у крыльца, шляпу держал на коленях. Однажды пожилая женщина в полушалке, перекрестясь, положила в эту шляпу копейку. Дядя дернулся, привстал, потянулся за костылем, покраснел.

- Сударыня, вы ошиблись! - надтреснутым голосом крикнул он.

В этот день он недолго сидел на крыльце.

Его любили товарищи старшего брата. На балладу Юрия Тынянова, товарища старшего брата, он сочинил музыку.

Было тихо кругом, когда скальд умирал...

Первое время он выходил к столу, шутил. Потом перестал.

3

В доме всегда толпились актеры. Среди них были "резонеры", "первые и вторые любовники", "благородные отцы", "инженю" и еще какие-то "инженю комик". "Резонеры" всегда играли резонеров, то есть людей, которые очень любят рассуждать, но ничего не делают, а благородные отцы - отцов, хотя и не обязательно благородных. Но случалось, что "резонер" играл, например, первого любовника, и тогда его обычно хвалили, даже если он играл плохо, потому что считалось, что это "не его амплуа".

О том, кто и как играл, в доме говорили гораздо больше, чем о собственных делах, хотя дела с каждым годом шли все хуже и хуже. Иногда мама в разговоре изображала, как, по ее мнению, нужно было сказать: "Карету мне, карету!" или "Австрийский на него надеть мундир",- и мне казалось, что в глубине души она считает себя актрисой. Я тоже любил играть, но один, когда меня никто не видел.

Мне казалось странным, что об актерах у нас говорили так

много. Почему-то было известно, что у "первого любовника", красавца С., маленькая лысинка на темени и что он будто бы прикрывает ее волосистой нащепкой. Его жена была, оказывается, на пять лет старше, чем он, и ревновала его, но так искусно, что никто этого не замечал.

Актеров у нас любили просто за то, что они были актеры. Один "благородный отец" просидел до ночи, накурил, съел целую курицу, мычал, никому не понравился,-кажется, не за что было его похвалить! И все-таки мама сказала, что у него красивая шея.

Нянька считала, что от актеров в доме беспорядок, и была, по-видимому, совершенно права, хотя, когда труппа уезжала (иногда в середине сезона, если антрепренер "прогорал"), беспорядок нисколько не уменьшался, а только становилось скучнее. Драматическая труппа приезжала летом, а зимой мама устраивала концерты. Трио Чернявских из Америки, хорошенькие мальчики в бархатных костюмчиках, с кудрявыми шелковистыми волосами, просидели у нас целый вечер. Мы с Сашей тоже нарядились, хотя у нас не было других штанов, кроме как из чертовой кожи,- мама сердилась, что на нас "не наберешься", и нам стали шить штаны из этой материи, которую - мы пробовали - можно было разорвать только клещами.

Мне не понравилось трио Чернявских. Они были похожи на девочек, говорили тихими голосами. Один аккуратно снял кожу с копченого леща и стал вежливо жевать ее, не леща, а именно кожу. Мы с Сашей подавились, выскочили из столовой, и нам потом попало от мамы. Она сказала, что ничего особенного, очевидно, в Америке не едят копченых лещей, и нужно было не смеяться, а сделать вид, что мы ничего не видели, тем более что мальчик скоро догадался, в чем дело.

Знаменитый скрипач Бронислав Губерман приехал в Псков, и мама, встретив его, вернулась расстроенная: в номере было двадцать два градуса жары, а Губерман сердится и требует, чтобы было двадцать четыре.

Отец считал, что мы все - и старшие, и младшие - должны учиться музыке, бывать на концертах, в опере, и я тоже получил билет, правда плохой - стоять на галерке. Народу было полно, мне было скучно одному и немного страшно. Мама заставила меня надеть целлулоидный воротничок, все время мне хотелось вертеть головой, и было такое чувство, как будто кто-то держит меня за горло. Зато я был на концерте Губермана, а он получал двести рублей за концерт, и лучше его во всем мире играл только Кубелик.

Он вышел, худенький, с большой квадратной головой, и поклонился небрежно, как бы между прочим. Потом заиграл, и

уже через десять минут я поймал себя на том, что не слушаю, а думаю о своих делах: "Отдаст Борька Петунин ножичек или нет?", или: "Здорово я вспотел", или: "Интересно, а ведь это мясник". Мы с мамой на днях заходили в мясную лавку, и мясник, который, внимательно слушая, сидел сейчас в партере, гладко причесанный, в новом костюме, стоял тогда за прилавком в белом, запачканном кровью переднике среди ободранных туш, висевших вниз головами, - страшный, румяный - и легко рубил мясо, подбирая тем же ножом раздробленные кости с нежными сеточками внутри.

Я почти не слушал Губермана, хотя обычно сочинял под музыку в уме целые сцены. Хорошо он играет или плохо? Должно быть, я очень тупой, если не могу этого понять, в то время как все хлопают, кричат: "Браво, браво, бис!" - а он выходит и долго стоит, опустив квадратную голову и прижав скрипку к груди. Потом я решил, что мне было трудно слушать потому, что все время приходилось думать о том, что он получает двести рублей за концерт и, кроме Кубелика, играет лучше всех в мире.

Потом приехала оперная труппа под управлением Штока, и, по общему мнению, это был отчаянный шаг. В Пскове каждый день нужно было показывать новый спектакль, иначе публика не ходила в театр. А ведь опер вообще очень мало, и с одной репетиции показывать их почти невозможно. Но Шток показывал. Мне нравилось, когда он вдруг появлялся за пюпитром - высокий, во фраке, с орлиным лицом,- властно стучал палочкой, и в оркестре сразу же умолкал беспорядочный шум.

Когда я смотрел, как отец машет палочкой, увлекаясь и не замечая, что в трудных местах он смешно приседает, мне не хотелось быть дирижером, а когда видел Штока -хотелось.

- Еще не прогорел? - говорили в городе.

Мне хотелось поддержать его, и я уговорил богатого толстого Плескачевского пойти со мной на "Сельскую честь"; он пошел, заснул и свалился со стула.

Шток держался, пока в Псков не приехал музей восковых фигур. Там показывали Наполеона III, Дрейфуса и женщину в пеньюаре, которая с ножом в груди, как живая, падала на пол с кровати.

Но мне повезло, что Шток держался так долго, потому что публику невозможно было заманить на одну оперу больше двух раз, и таким образом в одно лето мне удалось прослушать двадцать четыре оперы - больше, чем за всю остальную жизнь. Многие из них были поставлены наспех. Например, в "Гугенотах" на Рауля упала стена и он должен был петь, подпирая ее плечом и стараясь удержаться от смеха. Но я все равно ходил, отчасти по

настоянию отца, который считал, что опера полезна для здоровья.

- Опера, опера, опера только! - говорил он.

...Я играл в Штока: выходил, кланялся и сразу - к музыкантам, властно постучав палочкой по пюпитру. Дирижируя, я подавал знак артистам -вступайте - и, кланяясь, небрежно откидывал назад шевелюру. Правда, шевелюры не было - нас стригли под первый номер, но я все равно откидывал и кланялся быстро и низко, как Шток.

Я не только управлял оркестром, хотя все время нужно было что-то делать со звуками, летевшими ко мне со всех сторон, я боролся с неведомой силой, заставлявшей меня "прогорать". Может быть, это были большие черные птицы, которых я отгонял своей палочкой, но они опять прилетали. Возвышаясь над оркестром, высокий, с орлиным профилем, в черном фраке, я отбивался от них - спиной к этим жадным лавочникам, сидевшим в партере и равнодушно смотревшим, как я прогорал.

4

Для отца музыка - это был полк, офицеры, парады, "сыгровки", на которых он терпеливо и беспощадно тиранил свою музыкантскую команду, ноты, которые он писал быстро и так четко, что их трудно было отличить от печатных. Он играл почти на всех инструментах. Но его музыка была полковая, шагающая в такт, сверкающая на солнце, мужественная. Недаром он придавал особенное значение ударным инструментам: барабану, треугольникам и тарелкам. И даже когда его оркестр играл похоронный марш, в музыке чудилось нечто подтянутое, военное, с выправкой и как бы внушающее покойнику, что, хотя он умер и тут уж ничего не поделаешь, он может не сомневаться, что и после его смерти все на свете пойдет своим чередом.

Отец любил какую-то пьесу, в которой изображалось эхо. Выступая со своим оркестром по воскресеньям в Летнем саду, он посылал на горку трубача. Трубач отзывался неожиданно, и публика прислушивалась, не веря ушам. Скептики шли искать трубача, но не находили-он ловко прятался в кустах.

Для Саши музыка была совсем другое. Он любил "изображать" на рояле, и это у него получалось прекрасно.

- Мама,- говорил он и действительно играл что-то прямое, немногословное, гордое, в общем, похожее на маму.

- Нянька.

И однообразный ворчливый мотив повторялся до тех пор,

пока все не начинали смеяться.

- Преста.

И начинался старческий собачий лай, хриплый, замирающий на короткой жалобной ноте.

У Саши был талант, но он не придавал ему значения. Он еще не решил, кем он будет - знаменитым химиком или музыкантом. Дядя Лев Григорьевич считал, что Саше нужно "переставить" руку, но Саша не соглашался - это должно было занять, по его расчету, не меньше трех лет. Он говорил, что для композитора неважно, умеет ли он хорошо играть, что даже Чайковский играл, в общем, средне. Зато Саша превосходно читал с листа. Кипа старых нот, которые он быстро проигрывал, постоянно лежала на рояле.

Некогда о Льве Григорьевиче говорили как о восходящей звезде музыкального мира. На стенах его комнаты были развешаны фотографии. Он объяснял: "Это - Друскеники. А это - Баден-Баден". Дамы в белых кружевных платьях, в шляпах с большими полями сидели под зонтиками в саду. Дядя в коротком пиджаке с закругленными лапами, в жилете, по которому вислась золотая цепочка, в канотье, небрежно откинута на затылок, с тростью в руке шел по аллее. Таким я видел его только однажды, когда, отправляясь в заграничное турне, он на несколько дней остановился в Пскове. Это был высокий темноволосый красавец, уверенный в том, что он нужен всем со своей легкой походкой, мягкой улыбкой из-под усов, с блеском вьющейся шевелюры, с франтовством, над которым он сам же подшучивал, с готовностью в любую минуту сесть за рояль, кто и когда ни попросил бы его об этом. В молодости у него были "истории"-- гродненская вице-губернаторша, молоденькая и хорошенькая, влюбилась в него и убежала от мужа...

По фотографиям было видно, что он то носил, то не носил усы. Теперь он всегда носил их. Я помню, как однажды мама зашла к нам с Сашей и сказала нехотя, что дядя сбрил усы.

- Он плохо выглядит,- сказала она. - Но не нужно говорить ему об этом.

И действительно, дядя выглядел плохо. У него запала верхняя губа, и в этот день было особенно трудно поверить, что гродненская вице-губернаторша была готова бежать с ним на край света.

С утра до вечера он играл - готовился к концерту. Он надеялся, что этот концерт сразу поставит его на одну доску с лучшими пианистами мира, тем более что дядя так развил руку, что мог взять полторы октавы. Только у Падеревского была такая рука.

Видимо, болезнь, о которой я писал, на короткое время

отступила.

Он выбрал трудную программу - Скрябина, Листа и на бис мазурку Шопена. А если придется бисировать дважды - вальс, тоже Шопена.

Прежде у него не было времени, чтобы как следует подготовиться к концерту. Зато теперь - сколько угодно. С утра до вечера он повторял свои упражнения. Пальцы у него стали мягкие, точно без костей, и, когда он брал меня за руку, почему-то становилось страшно. Я просил его сыграть что-нибудь, и он начинал энергично, подпевая себе, и вдруг останавливался и повторял трудное место еще раз... Еще... И, забыв обо мне, дядя принимался развивать руку.

Чтобы никого не беспокоить, он играл очень тихо, но все-таки старшая сестра, у которой были частые головные боли, уставала от этих однообразных упражнений, и тогда мастер Черни переделал пианино таким образом, что на нем можно было играть почти бесшумно. Но фортиссимо все-таки доносилось. Тогда дядя сказал, что звуки ему, в сущности, не нужны и что глухота не помешала же Бетховену сочинить Девятую симфонию! И Черни снова пришел, маленький, курчавый, грустный, с коричневыми, пахнущими политуры руками. Он прочел мне два стихотворения: "Черный ворон, что ты вьешься над моею головой" и "Буря мглою небо кроет" - и сказал, что сам сочинил их в свободное время...

Иногда дядя выходил посидеть на крыльцо и все прислушивался - бледный, с ногами, закутанными в старую шаль. Что там, в Петрограде? Правда ли, что столицей станет теперь Москва? Помнит ли еще его Гольденвейзер?

Концерт будет в Москве, это решено. Может быть, на бис он сыграет еще Чайковского "Прерванные грезы". Все пройдет, превосходно, без хлопот, без мук и унижений...

Мне кажется теперь, что я поздно стал понимать и чувствовать музыку именно потому, что она занимала слишком большое место в доме. Она была чем-то обыденным и рано наскучившим мне своей обыденностью, ежедневностью, хотя меня, самого младшего из шестерых детей (о каждом я расскажу в свое время), никто не принуждал учиться музыке, как принуждали старших. Сашу тоже сперва принуждали, а потом он сам пристрастился.

Все "музыкальные" события, большие и маленькие, происходившие в городе, были связаны с мамой. По ее приглашению в Псков приезжали Шаляпин, Мозжухин, Смирнов. Она, как святыню, хранила торопливую, но любезную записку Лабинского, извещавшего ее, что концерт откладывается по болезни. Родители приводили к ней детей, чтобы узнать, есть ли у них музыкальный слух. Ни один благотворительный концерт не проходил без ее участия.

Мне было четырнадцать лет, когда она вдруг заметила, что у меня большая, не по возрасту крепкая рука, и спросила, не хочу ли я учиться игре на рояле. Я согласился. Новый преподаватель Штегман появился в Пскове, сдержанный, вежливый, требовательный немец, и занятия пошли так успешно, что уже через год я играл Третий ноктюрн Шопена. Должно быть, тогда-то и началось совсем другое отношение к музыке - она как бы поднялась над всем, что о ней говорилось, над всем, что вокруг нее делалось. Впервые я не только услышал, но как бы увидел ее. Я понял дядю Льва Григорьевича, который играл волнуясь, энергично двигая беззубым ртом, и рассказывал мне все, что он слышал: "Вот прошел дождь, ветер стряхивает с ветвей последние капли, и, они звенят, сталкиваясь в вышине, и падают, разбиваясь о землю. Мальчик идет по дороге, свистит, размахивает палкой. Зимнее утро. Женщины спускаются к реке, полощут белье в проруби, переговариваясь звонкими голосами. А вот ночь в ледяном дворце, и мальчик Кай из ледяных кубиков складывает слово "вечность".

Это были первые уроки слушания музыки - даже в однообразности гамм, которые заставлял меня играть педантичный Штегман, я старался найти их "подобия" в действительной или фантастической жизни. Но прошло время, и я понял, что картины, которые Лев Григорьевич рисовал передо мной, играя на рояле, в сущности, недалеко ушли от Сашиных изображений няньки или мамы. Я почувствовал, что музыка бесконечно выше любых ее подобий и тонкая мысль, может быть, ближе к ней, чем самая поэтическая картина. Знаменитая пианистка Баринова приехала в Псков, и, слушая ее, я с особенной остротой понял, что музыку нельзя ни рассказать, ни изобразить так же как нельзя передать поэзию - прозой...

машинальности было что-то неподвижное, устоявшееся и страшное своей незримой связью не только с тем, что происходило, но и с тем, что не должно было происходить.

Городовой шел с базара, придерживая правой рукой полутрубленную кисть левой, кровь капала на панель, он шел не торопясь, немного хмурясь, со спокойным лицом. Как говорили, кто-то в драке выхватил из ножен его же собственную шашку и ударил ею по его руке.

Каждое утро открывались магазины, чиновники шли в свои "присутственные места", мать - в "специально музыкальный" магазин на Плоской, нянька - на базар, отец - в музыкантскую команду.

Мне казалось, что даже то, что мать стала покупать сливочное масло не за 18, а за 17 копеек фунт и сдержанно сердилась на капельмейстера Красноярского полка за то, что он накладывает это масло на хлеб, не размазывая, толстыми пластами, было незримо связано с какой-то слепой, независимой, управляющей волей. Она была утверждена, воплощена, и все, что происходило в нашей семье, было одной из форм ее воплощения.

В Пушкинском театре на святках 1909 года должен был состояться бал-маскарад, и я смутно помню шумную ссору между матерью и братом Львом, который непременно хотел пойти на этот бал-маскарад. Сестры были старше его, но они никогда не посмели бы говорить с матерью в таком тоне, так упрямо настаивать на своем и так бешено разрыдаться в конце концов, когда мать сказала, что, если бы даже гимназистам было разрешено посещать маскарады, он все равно остался бы дома. Вторично я увидел его плачущим через 35 лет.

Мое детство прошло под однообразные звуки скрипки и скучные наставления отца: Лев, который не хотел быть музыкантом, играл гаммы на мокрой от слез маленькой скрипке. Когда ему было десять лет, отец повез его к Ауэру, знаменитому профессору Петербургской консерватории, который обещал с осени взять мальчика в свой класс. "Для меня настали тяжелые времена,- пишет брат в своих воспоминаниях. - Отец, волевой человек, принуждал меня заниматься. В конце концов я разбил свою детскую скрипку. Это было страшным преступлением в глазах отца. Он всю жизнь коллекционировал скрипки..."

Впоследствии занятия возобновились, но уже любительские, по собственному желанию.

Мне всегда казалось, что скрипка не идет к его плечистости, военной осанке, решительности, уверенности, к тому особенному положению, которое он занимал в семье. Быть может, рано проснувшееся честолюбие уже тогда подсказало ему, что не со скрипкой в руках он добьется славы?

Когда мне было девять лет, а ему семнадцать, он просто не замечал меня, и не замечал долго - до тех пор, пока зимой 1918 года не приехал в Псков, чтобы перевезти семью в Москву.

В пору окончания гимназии его жизнь была невообразимо полна. Поглощающая сосредоточенность на собственных интересах полностью заслонила от него младшего брата, ходившего еще в коротеньких штанишках. Тем не менее между нами была соотнесенность, о которой он, разумеется, не подозревал и которая раскрылась лишь через много лет, когда к братской любви присоединился интерес друг к другу.

Уже и тогда я знал или неопределенно чувствовал, что он хвастлив (так же, как и я), воинствующе благороден, спокойно

честолюбив и опасно вспыльчив. Любовь к риску соединилась в нем с трезвостью, размах - с унаследованной от отца скуповатостью. Все на нем было отглажено, франтовато. Кривоватые - тоже от отца - ноги приводили его в отчаяние. Похожий на Чехова портной, в пенсне с ленточкой, приходил - и они долго, сложно разговаривали, как кроить брюки, чтобы скрыть кривизну.

Он был высок, красив и очень силен. В семейном альбоме сохранилась фотография, на которой он одним махом поднимает в воздух меня, прижавшего колени к груди и обхватившего их руками. Мне было двенадцать лет, я был плотным мальчиком и весил, должно быть, не меньше чем два с половиной пуда.

2

Его товарищи-гимназисты каждый вечер собирались у нас.

С жадностью прислушивался я к их спорам. Незнакомые иностранные имена - Ибсен, Гамсун - постоянно повторялись. Бранд был герой какой-то драмы, а Брандес - критик. Почему они интересовались именно норвежскими писателями? В приложениях к "Ниве",- современный читатель едва ли знает, что был такой журнал, известный своими приложениями - собраниями русских и иностранных писателей,-я долго рассматривал их портреты. Гамсун был молодой, с разбойничьим лицом. У Ибсена между большими бакенбардами сиял упрямый, гладкий подбородок. Почему у Бьернстjerne Бьернсона имя и фамилия так странно повторяют друг друга? Кто такой лейтенант Глан, о котором они спорили с ожесточением? Офицеры часто бывали у нас, и этот Глан тоже был офицером, но, очевидно, флотским, потому что в армии не было лейтенантов. Ко всему, что делали и о чем они говорили, присоединялось нечто значительное. Наше существование казалось мне низменным, вроде существования Престы. Мы просто жили, то есть спали, ели, ходили в гимназию, радуясь, когда кто-нибудь из учителей заболел, и так далее. У них все было таинственным, сложным. Лев утверждал, например, что у него никогда не будет детей, потому что иметь детей - это преступление. Конечно, мы были уже не дети, но ведь недавно были именно детьми, особенно я,- значит, мои родители совершили преступление?

Философствуя, восьмиклассники пили. Денщик Василий Помазкин по утрам, стараясь не попасться на глаза матери, выносил пустые бутылки. Они пели. Их любимую песню я знал

наизусть:

Как в селе Василевке,
В огороде у Левки,
Под старой ракитой
Был найден убитый.
Как по старому делу
Да по мертвому телу
Из-за реченьки быстрой
Становой едет пристав.
А за ним-то на паре
И урядничья харя.
Во деревню въезжают,
Мужиков собирают,
С мужиков бестолковых
Собрали сто целковых.
Становихе на мыло -
По полтиннику с рыла,
Становому на ночку -
Старостихину дочку.

Припев после каждых двух строк был: "О горе, о горе!", а в конце, после строфы:

Становой удалился,
Весь мир веселился,-

гимназисты оглушительно возвещали: "О радость! О радость!"

Восьмиклассники влюблялись, я знал по именам всех гимназисток, за которыми они ухаживали. Любовь - это было то, из-за чего стрелялись. Застрелился из охотничьего ружья Афонин из седьмого "б", голубоглазый, красивый. Отравился Сутоцкий. Через много лет Юрий Тынянов в набросках своей автобиографии рассказал о нем: "Потом хоронили Колю Сутоцкого. Он был веселый, носатый и пропадал с барышнями. Он совсем не учился и никогда не огорчался. Вдруг проглотил большой кристалл карболки. На похороны пришли все барышни. Надушились ландышем. Попик сказал удивительную речь: "Подметывают,- сказал он,- разные листки. А начитавшись разных листов, принимают карболку. Так и поступил новопреставленный". Но Коля не читал листов, и об этом знали барышни".

Занимаясь с Михаилом Алексеевичем, читая до одурения и подслушивая разговоры старших, я решил, что пора влюбиться и мне, хотя в девятилетнем возрасте это было, по-видимому, невозможно.

Маруся Израилит привела ко мне свою младшую сестру Шурочку, толстую, с большим белым бантом на голове, застенчивую, годом моложе меня.

- Поиграйте,- сказала Маруся.- Мне давно хотелось вас познакомиться.

Мы остались одни, и я сразу же поцеловал Шурочку в крепкую румяную щеку.

3

Даром предвидения Лев не обладал, и если бы в ту пору судьба раскрылась перед ним, он не поверил бы своим глазам. Впоследствии он научился им верить. Однако уже и тогда он понимал, что надо готовиться к жизни, в которой ничто не падает с неба.

До восьмого класса он учился посредственно, а в восьмом решил получить золотую медаль - и получил бы, если бы латинист Бекаревич не поставил ему на выпускном экзамене двойку. Он вернулся мрачный, похудевший, бледный и в ответ на чей-то робкий вопрос закричал в - бешенстве, что провалился, что своими глазами видел, как латинист поставил ему двойку.

Это было так, как будто все - и братья, и мать, которая любила его больше других детей, и нянька Наталья, которая вырастила его,- весь дом был виноват в том, что он провалился. В своих воспоминаниях он пишет, что латынь давалась ему с трудом, в то время как Тынянов и Летавет в восьмом классе разговаривали на латыни.

На другой день выяснилось, что по настоянию директора, поставившего по латыни пять, в среднем была выведена четверка, и Лев получил хотя и не золотую, но серебряную медаль. Оба балла были психологически обоснованы, их полярность связана с историей, о которой я еще расскажу.

Уже и тогда Лев существовал наступательно, в атмосфере полярности.

Впоследствии эта черта, затруднив его жизнь, облегчила задачу тому, кто задумал бы о ней написать.

4

Как поступить, чтобы старший брат заметил меня? Я не мог, как это сделал он, подкупив булочника, надеть на себя его белый передник и колпак и пойти торговать пирожными и печеньями в Мариинской женской гимназии во время большой перемены. Это

было сделано на пари и сошло бы с рук, если бы в разгаре торговли не явилась начальница гимназии мадам Тубенталь. "Она молча подошла ко мне,- пишет брат,- строго посмотрела в лорнет и удалилась".

Только заступничество Владимира Ивановича Попова, преподавателя литературы, спасло брата от исключения.

Еще меньше можно было надеяться, что мне удастся удрать в Петербург с какой-нибудь известной актрисой. Гимназисты провожали актрису С., молодую, красивую, имевшую шумный успех в пьесе Ибсена "Гедда Габлер". Раздался третий звонок, поезд тронулся, Лев догнал его и прыгнул на ступеньку последнего вагона. Нарочно или случайно он забыл в купе актрисы свой портсигар.

То мне представлялся длинный, интересный разговор с братом. О чем? Это было неясно. То я воображал, как он был бы поражен, если бы мне удалось... Не знаю что... Прыгнуть со второго этажа на двор? Мы жили в то время на втором этаже. Но у меня неприятно пересыхала глотка, едва я подходил к окну.

И вот пришел день, когда мои надежды осуществились. С незримой помощью брата я решился на отчаянный шаг. Можно было не сомневаться, что Лев похвалил бы меня: живой пример его поведения был перед моими глазами.

5

С утра до вечера мы торчали на Великой, забегая домой, только чтобы поесть. Это была прекрасная, ленивая жизнь, больше в воде, чем на суше, и Саша, например, ленился надевать даже рубашку и шел по городу в куртке, надетой на голое тело, рискуя напороться на Емоцию и заработать шесть часов в воскресенье. Емоция был инспектор гимназии, преподававший психологию и говоривший: не "эмоция", а "емоция".

Эта прекрасная жизнь вдруг кончилась - мама сняла в Черняковицах дачу. Мы редко снимали дачу, потому что у нас было мало денег, но в этом году она, по-видимому, решила, что неудобно остаться на лето в городе, в то время как все приличные люди снимают дачи. Сама она с нами жить не могла, отец -тоже, и на дачу поехала бабка, о которой мама говорила, что она была в молодости поразительная красавица. Потом я заметил, что про старых женщин часто говорят, что в молодости они были красавицы.

Мы сняли большой дом, старый, разваливающийся и,

наверное, очень дешевый. Не знаю почему, но назывался он "Ноев ковчег". По ночам он скрипел, даже как-то выл, половицы пели на разные голоса, ставни хлопали. Но я не боялся и даже жалел его, точно он был живой.

В общем, в Черняковицах было скучновато, речка маленькая, и лениться неинтересно, куда хуже, чем в городе, где гимназисты прыгали с мола, плыли навстречу волнам, когда проходили пароходы Викенгейзера, и врал, что ездили с продавщицами в Кутузовский курзал.

Правда, в Черняковицах был дом сумасшедших. Иногда их водили на станцию, и мы с Сашей познакомились с одним бородатым, который сказал, что он - Монтезума, король инков, и пригласил нас к обеду, похваставшись поваром, который прекрасно жарит картошку на керосине.

- Вот этой трубке пять тысяч лет,- сказал он.- Из нее курил сам Юлий Цезарь.

Я боялся сумасшедших, а Саша хвастался, что ему интересно, он их изучает.

Мы нашли прекрасное место для купания, единственное, где можно было плавать. В других местах речка была мне по грудь, а Саша говорил, что плавать не научишься до тех пор, пока будешь чувствовать под ногами дно. Он считал, что в основе плавания лежит страх и что, следовательно, там, где нельзя утонуть, нельзя и научиться плавать.

Мы походили на это место дня два, а потом нас вышибли аристократы из какого-то богатого имения. Возможно, что это были и не аристократы, но кто же еще мог ходить с теннисной ракеткой в руках, в кремовых брюках и говорить так свободно и вежливо, вставляя иностранные слова в русскую речь?

С нами они поговорили не очень вежливо. Но нам было наплевать, потому что Федька Страхов показал местечко не хуже, только с илистым дном.

К брату Льву приехали товарищи - теперь уже не гимназисты, а студенты. Бабка была в ужасе - студенты гуляли до рассвета, много ели и распевали запрещенные песни.

Лев собирался жениться на Марусе Израилит, она приехала с подругой, и теперь до меня доносились по ночам тихие голоса, смех и таинственный шепот.

Конечно, студенты стали купаться там, где прежде купались мы, и аристократам не удалось так легко вышибить их оттуда, как нас. Тогда они стали делать вид, что не замечают студентов. Так продолжалось дня три, а потом к нам пришел вежливый усатый городской и сообщил бабке, что накануне на станции был составлен протокол, поскольку один из молодых людей нанес

оскорбление другому. Городовой доложил об этом именно бабке, точно она была приставом, и она страшно разохалась и дала ему пятиалтынный. Это была взятка, чтобы он положил протокол "под сукно": Лев был замешан в этой истории. Потом городовой приходил еще раза три, и бабка каждый раз давала ему то гривенник, то пятиалтынный.

Потом все уехали - барышни и студенты,- и Лев от скуки решил пойти купаться с нами. Мы шли, разговаривая, и вдруг на дорожке показались аристократы.

Саша потом говорил, что с точки зрения чистого разума нужно было дать стрекача. Но Лев сказал спокойно: "Вас-то мне и надо" - и остановил компанию. Он был один, а их - много, человек семь, впереди -невысоконыйкий, беленький, ворот рубашки расстегнут, на одной ноге, должно быть подвернутой,- мягкая домашняя туфля, и в правой руке - лакированный стек.

- Скажите, пожалуйста, какое вы имеете право...

Невысоконыйкий дерзко ответил, брат - тоже. Они двинулись друг на друга, и мне стало страшно, что он ударит брата хлыстом. Но он не решился. Они снова быстро заговорили, и можно было понять, что кто-то из аристократов оскорбил на станции одного из товарищей Льва.

- А вот это я вам еще докажу,- сказал он, и вся компания обошла его и молча двинулась дальше.

...Мне очень понравилось, как он сказал: "Вас-то мне и надо", и, лежа на песке, я думал об этом. Да, наши были одно, а эти молодые люди из имения - совершенно другое. Трудно было, например, вообразить Августа Летавета в кремовых брюках, так же как никто из них никогда не надел бы вытертые, в пятнах штаны Августа, над которыми все смеялись - и он первый, показывая белые зубы. Может быть, этот беленький со стеком - барон или граф? Или то и другое? Я видел в "Огоньке" фотографию: "Князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон" - он тоже был в отглаженных белых брюках, с теннисной ракеткой в руке, смеющийся, красивый.

Мы полезли в воду, и я немного поплавал у берега, стараясь не чувствовать под ногами дно. Это было трудно, потому что я его видел. День был солнечный. Я отплыл подальше и вдруг, повернув голову, понял, что я на середине реки. Теперь было уже все равно, возвращаться или плыть вперед,-до правого и левого берега было одинаково далеко. Или, может быть, близко? Саша крутился где-то поблизости и даже закричал: "Венька поплыл!" - я впервые решился переплыть речку. Но на него было мало надежды, потому что еще сегодня он говорил, что для того, чтобы спасти утопающего, нужно его оглушить, ударив по голове веслом

или камнем. Именно такой способ рекомендует Императорское общество спасения на водах. Это было хуже, чем утонуть, и я плыл, стараясь не думать о том, что мне становится все труднее двигать руками. Потом в середине груди остро закололо, так остро, что я с удовольствием совсем перестал бы дышать, если бы это было возможно. Я не перестал - и это была секунда, когда я как бы увидел перед собою Льва: "Вас-то мне и надо".

Руки уже не били по воде, как прежде, и, хотя я их заставлял, могли только слабо махать. Но я решил, что все-таки доплыву: "Вас-то мне и надо". Он был один, а их человек шесть или семь, и когда я потом спросил: "Неужели ты не испугался?" - он ответил, что ударил бы этого хлыща с тросточкой коленом в пах. Я плыл, и больше всего на свете мне хотелось, вопреки Сашиным наставлениям, почувствовать под ногами дно.

Я не утонул. Я вышел и рухнул на песок. Мне было все равно, и я нисколько не гордился, что переплыл речку. Но мне захотелось засмеяться или заплакать - сам не знаю, что именно, - когда приплыли Саша и Федька Страхов и сказали, что я все-таки молодец.

В неразличимом, сливающимся потоке дней я пытаюсь найти себя, и, как это ни странно, попытка удается. Она удается, потому что мною владеют те же самые мысли и чувства. Конечно, они изменились, постарели. Но я узнаю их в другой, более сложной форме. Как тогда, так и теперь ничего, в сущности, не решено. То, что заставляло меня задумываться в восемь лет, останавливает и теперь, когда жизнь почти прожита. Значит ли это, что я не изменился? Нет. Перемены произошли - и это глубокие, необратимые перемены. Но именно они-то и раздернули передо мной тот занавес, за которым в онемевшей памяти хранились мои молниеносно пролетевшие детские годы.

В раннем детстве меня поражало все - и смена дня и ночи, и хождение на ногах, в то время как гораздо удобнее было ползать на четвереньках, и закрывание глаз, волшебным образом отрезавшее от меня видимый мир. Повторяемость еды поразила меня - три или даже четыре раза в день? И так всю жизнь? С чувством глубокого удивления привыкал я к своему существованию - недаром же на детских фотографиях у меня всегда широко открыты глаза и подняты брови. Это выражение впоследствии скрылось за десятками других, вынужденных и добровольных.

В комнате с кривым полом висела карта России, и, разглядывая ее, я думал о том, что во всех городах Среднерусской возвышенности, а может быть, и Сибири каждый делал не то, что хотел, а то, что ему полагалось делать. Саша, например, охотно остался бы дома, читал "Вокруг света", нянька побежала бы не на базар, а к своему актеру, а мама, приняв пирамидон, уснула бы - она постоянно жаловалась на головную боль. По-видимому, в России был только один человек, который с утра до вечера мог делать все, что вздумается, - играть в солдатики, пускать мыльные пузыри и ходить по двору на ходулях. Это был император. В нашем доме только нянька заступалась за царя - она была монархистка. Ее смуглое, цыганское лицо свирепело, когда ругали царя, она била себя кулаком в грудь, золотые кольца в

ушах вздрагивали, черные глаза разгорались.

- Государь император - божий помазанник,- говорила она и, открывая свой сундук, показывала на внутренней стороне крышки фотографию царской семьи. - Всякая власть от бога.

Семья была симпатичная. Хорошенькие девочки, высокая дама в белой шляпе и офицер с бородкой, похожий на штабс-капитана Заикина, командира третьей роты Омского полка. Впрочем, многие офицеры были почему-то похожи на царя.

Царь был божий помазанник, потому что при восшествии на престол его помазали особнным ароматным маслом, которое называлось "мЯро". В самом этом слове было что-то загадочное,- одно из немногих в русском языке, оно писалось через ижицу, последнюю букву алфавита. Нянька утверждала, что это было божественное вещество, состоявшее из оливкового масла и белого виноградного вина, к которому прибавлялись ладаны - росный и простой, корни - имбирный и бергамотовый, перуанский бальзам и еще много других ладанов, трав и корней. Варилось мЯро только в Киеве и в Москве, в первые четыре дня страстной недели, причем разжигает уголь и подкладывает дрова сам архиерей, а священники все три дня, пока оно варится, читают молитвы.

Было совершенно ясно, что чудо, превращающее обыкновенного человека в царя, не может обойтись без стиракса и калгана,- и я не осмелился опросить отца Кюпара, что значат эти загадочные слова. Но оливковое масло огорчило меня. Иначе оно называлось прованским, и его можно было купить в любом магазине колониальных товаров. В прованском масле лежали сардины французской фирмы Филиппа Кано, которые я очень любил. Прованским маслом заливали селедку. Очевидно, соединясь с калганом или бергамотовым маслом, оно становилось божественным, тем более что мЯро варил сам архиерей.

Словом, мне было ясно, почему миллионы и миллионы человек, населяющих Российскую империю, делают то, что приказывает им царь. Патриарх помазал его лоб, глаза, губы, грудь и уши божественным веществом - и совершилось чудо. Он получил власть. А всякая власть - от бога.

Мне всегда нравился запах свежераспиленного дерева - сладкий и горьковатый. Он сопровождался неопределенным

чувством жалости - ведь дерево не могло сопротивляться, когда его пилили или кололи! Темноватый деревянный сарай за садиком во дворе бабаевского дома был одним из моих любимых мест во дворе.

Однажды я читал, сидя на козлах и упираясь ногами в колоду, а в глубине сарая играл мальчик лет пяти, сын дворника. Почему мне вдруг захотелось испугать его? Не знаю. Я продолжал читать, но и сама книга - это был "Человек, который смеется" Гюго - как бы подсказывала мне, что я должен сделать что-нибудь загадочное, может быть даже жестокое - во всяком случае, то, что еще никогда не случалось со мной. Я прыгнул с козел и поднял с пола топор. Мальчик, строивший что-то из обрезков досок, нерешительно встал. Он был стриженный, круглоголовый, босой, с торчащими ушами, в неподпоясанной голубой рубашке. Размахивая топором, я стал понемногу приближаться к нему. Он все стоял, не сводя с меня испуганных остановившихся глаз. Я знал, что делаю что-то дурное, но этого-то мне и хотелось.

Мальчик втянул голову в плечи. Неужели он поверил, что я могу ударить его топором? Пугаясь самого себя, но как-то весело, радостно пугаясь, я подступал все ближе, размахивал все сильнее - еще секунда, и топор, казалось, вылетел бы из рук. Вдруг мальчик бросился в сторону, далеко обогнул меня и кинулся из сарая.

Почему запомнился мне этот незначительный случай? Потому что это был один из самых дурных поступков в моей жизни, не позволявший мне забыть о нем и, быть может, предупредивший другие, еще более дурные.

В самом деле, мальчик был совсем маленький, года на три моложе меня, и только трус мог решиться на такую жестокую шутку. Она осталась безнаказанной, на дворе и в сарае не было никого,- стало быть, в моей жестокости был еще и расчет. Но откуда взялось испугавшее меня самого чувство непонятного счастья? Не знаю. Может быть, это было счастье власти, счастье еще не испытанной возможности подчинить другого, слабого, своей воле, своему намеренно бессмысленному желанию?

Мама, без сомнения, была за революцию, но ей, очевидно, хотелось, чтобы революция произошла сама собой, без усилий, как меняется погода. По меньшей мере, ей хотелось, чтобы в этих усилиях не участвовали ее дети.

Отец молчал. Он был убежден, что раз в армии - порядок, значит, порядок должен быть и в стране. Порядка не было - с этим он соглашался. Но династия Романовых только что отпраздновала трехсотлетие. По его мнению, не было серьезных оснований утверждать, что она не продержится еще триста.

Политика действовала на него как снотворное. Он выписывал художественно-литературный и юмористический журнал "Искры", в котором печатались только иллюстрации, - и все-таки засыпал на первой же странице. Когда он уходил на "сыгровку", Саша отрезал громадный ломоть черного хлеба, намазывал его маслом, густо солил и принимался за "Искры".

По вечерам приходили гости: военный врач Ребане, который, как неблагонадежный, был оставлен в Пскове, в то время как его полк давно воевал, журналист Качанович из либерального "Псковского голоса", высокий, с бородкой, куривший папиросы "Дядя Костя", актеры, офицеры. И в каждом, даже незначительном разговоре, чувствовалась уверенность в том, что монархический строй непрочен, расшатан. Жизнь проходила бездарно и пошло, потому что все в России устроено неудобно, несправедливо.

Но вот наутро, наскоро проглотив сайку с чаем, я бежал в гимназию, и уже на верхней площадке лестницы, где стоял инспектор, проверяя, по форме ли одет гимназист, мне начинало казаться, что династия Романовых не так уж расшатана, как утверждали мамины гости. Семейно-политическое единомыслие таяло, когда я смотрел на инспектора, который был похож на деревянного человечка с отваливающейся челюстью для щелканья орехов. Когда он говорил, у него рот открывался механически, точно за его спиной кто-то двигал палкой, к которой была приделана нижняя челюсть. Он-то как раз думал, что все в России устроено удобно и справедливо! А тех, кто был с ним не согласен, он в любую минуту готов был положить в рот и механически щелкнуть.

О подпольщиках говорили шепотом, с таинственным выражением. Они доверяли только друг другу. Скрываясь от полиции, они переезжали из города в город. У них были подложные паспорта, чужие фамилии. Они притворялись инженерами, нотариусами, врачами. Они гримировались, как актеры. Они должны были ничем не отличаться от самых обыкновенных людей - мне казалось, что это почти невозможно. Наяву и во сне они одновременно и были и не были самими собой.

За подпольщиками охотились филеры - так назывались сыщики, служившие в охранном отделении министерства внутренних дел. Зимой, в лютый мороз, они часами топтались на

месте, подсматривая в окна и отмечая в своих записных книжках, что такой-то пришел к такому-то в таком-то часу. Некоторых филеров знали в городе, и мне казалось, что, несмотря на приличный вид - котелок и длинное пальто, они все-таки готовы к тому, что кто-нибудь может плюнуть им в лицо или толкнуть, не извинившись.

Саша утверждал, что полиция платит им миллионы, потому что это адски трудная работа, которую можно сравнить только с ловлей жемчуга в Карибском море: голый ныряльщик проводит под водой девяносто секунд.

О, как мне хотелось увидеть хоть одного настоящего подпольщика, который был бы одновременно врачом, нотариусом или инженером! Я не подозревал, что он живет в нашем доме.

5

Я проглотил граммофонную иголку, и мама послала меня к доктору Ребане. Он был занят, и, пока я ждал его, мне становилось все страшнее. Я вспомнил, как мы купались в Черняковицах, в речке плавали "волосы", и Саша сказал, что они живые и могут впиться в тело и дойти до - сердца. Прежде я даже любил представлять себе, как я умираю: гимназический оркестр идет за моим гробом, играя похоронный марш, служители с грубыми, притворно грустными мордами медленно шагают по сторонам колесницы, Валя К. мелькает в толпе, прижимая платочек к покрасневшим глазам. А я лежу в открытом глазетовом гробу и думаю со злорадством: "Ага, дождались! Так вам и надо!" Но в приемной доктора Ребане меня не утешила эта красивая картина.

Иголка, без сомнения, уже прошла в желудок, и хорошо, если она не сразу пробралась сквозь четыре пирожка с мясом, которые я съел за обедом. Но на это было мало надежды.

Наконец больной ушел. Доктор проводил его и занялся мною. Он был высокий, полный, с крупными следами оспы на розовом лице и светлыми смеющимися глазами. Нос у него тоже был насмешливый, острый. Он всегда шутил и, узнав, что я проглотил граммофонную иголку, тоже пошутил, сказав насмешливо:

- Музыкальный мальчик.

Потом он опросил, как это произошло, и я ответил с отчаянием, что играл иглой, катая ее во рту, и она нечаянно скользнула в горло.

- Тупым концом?

Этого я не знал, но на всякий случай ответил:

- Тупым.

Мне казалось, что если я скажу - тупым, то все-таки больше шансов, что это именно так, даже если она скользнула острым.

Доктор задумался. По-видимому, в его практике это был первый случай. Потом он быстро влил в меня столовую ложку касторки и сказал:

- Подождем.

Я спросил, может ли иголка дойти до сердца и, если да, сразу ли я умру? Он ответил, что сердце, во всяком случае, останется в стороне, потому что иголка движется в противоположном направлении.

Чтобы утешить меня, он рассказал, что в детстве проглотил нательный крестик, но так испугался операции, что вернул его родителям еще по дороге в больницу. Он рассказывал серьезно, но потом Саша доказал, что это ерунда, потому что доктор был эстонец, а эстонцы не носят крестов, они лютеране. Но, может быть, доктор был православный эстонец?

Несколько лет я не думал о нем, хотя иногда он бывал у нас и даже любил после обеда поваляться на диване в столовой. Но во время войны, когда мы стали сдавать комнату, он вдруг переехал к нам.

Два раза в неделю у него был прием, и, очевидно, он очень внимательно осматривал больных, потому что некоторые из них сидели у него очень долго и даже оставались иногда ночевать.

Однажды доктор вышел из своей комнаты с таинственным видом.

- Ребята, идите сюда.

Мы вошли и увидели, что в кресле, у письменного стола, с закрытыми глазами сидит человек. Руки у него были подняты, точно он собрался лететь, лицо спокойное, спящее - и он действительно спал.

- Попробуйте согнуть ему руку,- сказал доктор.

Мы попробовали.

- Смелей!

Подогнув ноги, мы повисли на согнутых руках, как на штанге. Это было страшно, потому что казалось, что руки могут сломаться. Но они не сломались. Человек ровно дышал, и ему, по-видимому, даже не приходило в голову, что мы проделываем с ним такие штуки.

Я скоро забыл об этой истории, но на Сашу она произвела глубокое впечатление. Он нарисовал на потолке черный кружок и смотрел на него подолгу, не отрываясь - воспитывал силу взгляда. Однажды он даже попробовал силу взгляда на Ляпунове, который

хотел поставить ему по геометрии единицу, но под воздействием этой силы исправил на двойку.

Из "Нью-Йоркского института знаний", помещавшегося в Петрограде на Невском проспекте, 106, Саша выписал книгу "Внушение как путь к успеху". Путь к успеху, оказывается, шел не через внушение, а через самовнушение. Нужно было внушить себе, что мы волевые, энергичные люди. Именно так поступили в свое время Рокфеллер, Карнеджи и другие. О гипнозе упоминалось мельком.

Каждый день после гимназии Саша пытался усыпить меня, и, хотя мне иногда действительно хотелось спать, сон сразу же проходил, как только он с выражением решимости впивался в меня широко открытыми глазами. Он мне надоел в конце концов, и, чтобы отделаться от него, я однажды решил притвориться спящим.

Это было под вечер, в нашей комнате с кривым полом. Саша сказал, что сейчас он на расстоянии передаст мне свою мысль. Мы шли по комнате, он смотрел мне в затылок, и, хотя расстояние было небольшое, мне никак не удавалось угадать эту мысль, потому что приходилось все время удерживаться от смеха. У окна я остановился. Зажмурился и хрюкнул. Но, очевидно, Саша внушал мне что-то другое, потому что я почувствовал, что сейчас он даст мне подзатыльник. Тогда я прижался носом к стеклу, открыл глаза - и отскочил, чуть не сбив с ног гипнотизера. С другой стороны окна, прижавшись к стеклу, на меня смотрела чья-то страшная, сплюснутая рожа. Саша стал было доказывать, что он внушил мне увидеть рожу, но это было уже чистое вранье, потому что полчаса спустя мы встретили обладателя этой рожи на Сергиевской, в двух шагах от нашего дома. Приличный господин с усами, в меховой шапке, долго топтался на углу, а потом ушел и вернулся в картузе. Мы сразу побежали к доктору, потому что это был, без сомнения, филер. Но доктор засмеялся и сказал, что это не филер, а нянькин поклонник и что он сменил меховую шапку на картуз, чтобы понравиться няньке. При этом доктор почему-то торопливо вынимал бумаги из письменного стола, но не из ящичков, а из широких, оказавшихся полыми ножек. Боковина, к нашему удивлению, снималась, и в каждой ножке лежала кипа тонких листов.

- Ну конечно, я его знаю,- улыбаясь, говорил он. - Такой симпатичный господин с усами. О, конечно, это нянькин поклонник, и остается только удивляться ее успеху в столь преклонные годы. Но мне не хочется с ним встречаться. Лучше я пройду через сад, а вы, ребята, останьтесь в моей комнате, пожалуйста, да. Пройдитесь туда-назад. Опустите шторы, да.

Зажгите настольную лампу. О, недолго, десять или пятнадцать минут.

Он протянул нам обе руки, мы пожали их - Саша левую, я правую,- и ушел.

Опустив шторы, мы зажгли настольную лампу и прохаживались туда и назад до тех пор, пока доктор не вернулся. Бумаги он где-то оставил и был очень спокоен, даже, пожалуй, спокойнее и веселее, чем всегда.

Вскоре раздался продолжительный, резкий звонок. Это была полиция: двое городских, один штатский и жандармский офицер, которого мама встретила, надменно закинув голову с бьющейся от волнения жилкой на левом виске. Обыск продолжался долго, до ночи,- и ничего не нашли. В доме не спали. Нянька, расстроенная, в грязном халате, сидела на кухне и говорила, что во всем виноват патриарх Никон и что миру скоро конец, потому что люди забыли старую веру.

Зимой девятнадцатого года к нам пришла высокая бледная женщина в черном - вдова доктора Ребане, как она сказала. Ей хотелось поговорить о нем. Тоненькая, совсем молодая, она показала карточку - голый толстый мальчик, похожий на доктора, с таким же острым, насмешливым носом, сосал пятаку, жмурясь от наслаждения.

В начале сентября 1919 года двадцать пять делегатов 1-го съезда профсоюзов Эстонии были расстреляны на болоте под Изборском. Среди них был доктор Ребане.

6

Мысль о том, не трус ли я,-одна из самых острых, укоряющих мыслей моего детства. Именно она впервые поставила меня лицом к лицу с самим собою. Этот взгляд со стороны, иногда оправдывающий, но чаще осуждающий, через много лет помог мне "быть верным действительности", как писал Стивенсон. Взгляд со стороны неизменно помогал мне перед лицом решений, грозивших бедой - бедой, от которой нетрудно было ускользнуть, принимая эти казавшиеся почти естественными решения.

Мы играли во дворе, прыгая через планку, которую: можно было вставлять в зарубки на двух столбах, поднимая ее все выше. Этот гимнастический снаряд устроил брат Саша. Потом стали прыгать с поднятой крышки мусорного ящика -и прыгнули все, кроме меня, даже восьмилетний Боря Петунин. Саша сказал, что я - трус, и возможно, что это было действительно так.

Входя в темную комнату, я кричал на всякий случай: "Дурак!" Я боялся гусей, которые почему-то гонялись именно за мною, гогоча и низко вытягивая шеи. Еще больше я боялся петухов, в особенности после того, как один из них сел мне на голову и чуть не клюнул, как царя Додона. Я боялся, что кучера, приходившие с няниным мужем начнут ругаться, - когда они ругались, мне - очевидно, тоже из трусости - хотелось заплакать.

Правда, в Черняковицах я переплыл речку, но храбро ли я ее переплыл? Нет. Я так боялся утонуть, что потом целый день еле ворочал языком и совершенно не хвастался, что, в общем, было на меня не похоже. Значит, это была храбрость от трусости?

Странно, но тем не менее я, по-видимому, был способен на храбрость. Прочитав, например, о Муции Сцеволе, ложившем руку на пылающий жертвенник, чтобы показать свое презрение к пыткам и смерти, я сунул в кипяток палец и продержал почти десять секунд. Но я все-таки испугался, потому что палец стал похож на рыбий пузырь, и нянька закричала, что у меня огневица. Потом палец вылез из пузыря, красный, точно обиженный, и на нем долго, чуть не целый год, росла тоненькая, заворачивающаяся, как на березовой коре, розовая шкурка.

Словом, похоже было, что я все-таки трус. А "от трусости до подлости один шаг", как сказала мама. Она была сторонницей спартанского воспитания. Она считала, что мы должны спать на голых досках, колоть дрова и каждое утро обливаться до пояса холодной водой. Мы обливались. Но Саша утверждал, что мать непоследовательна, потому что у нас было две сестры, а в Спарте еще и бросали новорожденных девочек в море со скалы.

Когда она заметила, что я не спрыгнул с крышки мусорного ящика, она посоветовала мне сознаться, что я трусил, потому что человек, который способен сознаться, еще может впоследствии стать храбрецом. Но я не сознался, очевидно сделав тот шаг, о котором сказала мама.

Я старался забыть о том, что я - трус, но оказалось, что это почти невозможно. Читая роман Густава Эмара "Арканзасские трапперы", я решил, что эти трапперы не пустили бы меня даже на порог своего Арканзаса. Роберт -сын капитана Гранта - вдвоем с патагонцем Талькавом отбил от волчьей стаи, а между тем он был только на год старше меня.

Потом я прочел "Севастопольские рассказы" Толстого и решил, что он написал их только потому, что ему хотелось доказать себе и отчасти другим, что он - не трус. Иначе он не стал бы утверждать, что на войне бояться почти все, и в том числе - храбрые люди. Но боялись они по-разному - это в особенности заинтересовало меня. Адьютант Калугин не позволяет себе

бояться, потому что считается храбрецом. Это - храбрость от тщеславия. Юнкер барон Пест трусит из трусости, но когда он в беспамятстве убивает француза, ему сейчас же приходит в голову, что он - герой. Князь Голицын содрогается при одной мысли, что его могут послать на бастионы, но не только скрывает это, но даже утверждает, что люди в грязном белье и с неумытыми руками не могут быть храбрецами. Офицер, который в августе едет в Севастополь из города П., из храбреца становится трусом потому, что его добровольное решение пойти в действующую армию встретилось с глупыми формальностями, и еще потому, что он очень долго едет, три месяца, истратился и устал. Трусость легко переходит в храбрость, и наоборот. Опасность или даже только мысль об опасности делала человека трусом, но та же мысль могла сделать его храбрецом. Значит, трусость зависит от того, как к ней относиться? Оттого, что человек начинает казаться храбрым в собственных глазах, он не становится в действительности храбрым. Я запутался, размышляя о том - трус я или нет, хотя меня немного успокаивала мысль, что запутался, в сущности, и Толстой. Так или иначе, к трусам относились с презрением, как будто им нравилось умирать от страха. Я тоже относился к ним с презрением, и Саша сказал, что это очень важно.

- Следовательно,- сказал он,- в тебе все-таки есть зачатки храбрости, которые надо развивать, пока не поздно. Иначе они могут зачахнуть.

В нашем дворе красили сарай, и для начала он предложил мне пройти по лестнице, которую маляры перебросили с одной крыши на другую. Я прошел, и Саша сказал, что я молодец, но не потому, что прошел,- это ерунда,- а потому, что не побледнел, а, наоборот, покраснел. Он объяснил, что Юлий Цезарь таким образом выбирал солдат для своих легионов: если от сильного чувства солдат бледнел, значит, он может струсить в бою, а если краснел, можно было на него положиться. Потом Саша посоветовал мне прыгнуть с берега на сосну и тут как раз усомнился в том, что Цезарь пригласил бы меня в свои легионы, потому что я побледнел, едва взглянув на эту сосну с толстыми выгнутыми суками, которая росла на крутом склоне. Сам он не стал прыгать, сказав небрежно, что это для него пустяки. Главное, объяснил он, прыгать сразу, не задумываясь, потому что любая мысль, даже самая незначительная, может расслабить тело, которое должно разогнуться, как пружина. Я сказал, что, может быть, лучше отложить прыжок, потому что одна мысль, и довольно значительная, все-таки промелькнула в моей голове. Он презрительно усмехнулся, и тогда я разбежался и прыгнул.

Забавно, что в это мгновение как будто не я, а кто-то другой во мне не только рассчитал расстояние, но заставил низко наклонить голову, чтобы не попасть лицом в сухие торчащие ветки. Я метил на самый толстый сук и попал, но не удержался, соскользнул и повис, вцепившись в гущу хвои, исколовшей лицо и руки. Потом Саша, хохоча, изображал, с каким лицом я висел на этой проклятой сосне. Но все-таки он снова похвалил меня, сказав, что зачатки храбрости, безусловно, разовьются, если время от времени я буду повторять эти прыжки, по возможности увеличивая расстояние.

На Великой стояли плоты, и Саша посоветовал мне проплыть под одним из них, тем более что в то лето я научился нырять с открытыми глазами. Это было жутковато - открыть глаза под водой: сразу становилось ясно, что она существует не для того, чтобы через нее смотреть, и что для этого есть воздух, стекло и другие прозрачные вещи. Но она тоже была тяжело-прозрачна, и все сквозь нее казалось зеленовато-колеблющимся: слоистый песок, как бы с важностью лежавший на дне, пугающиеся стайки пескаррей, пузыри, удивительно не похожие на выходящий из человека воздух.

Плотов было много. Но Саше хотелось, чтобы я проплыл под большим, на котором стоял домик с трубой, сушилось на протянутых веревках белье и жила целая семья - огромный плотовщик с бородой, крепкая, поворотливая жена и девчонка с висячими красными щеками, все время что-то жевавшая и относившаяся к нашим приготовлениям с большим интересом. Мне казалось, что зачатки храбрости продолжали бы развиваться, если бы я проплыл под другим, небольшим плотом, но Саша доказал что небольшой может годиться только для тренировки.

- А для тренировки,- объяснил он,-лучше просто сидеть под водой, постепенно привыкая не дышать. Ведь это только кажется, что дышать необходимо. Йоги, например, могут по два-три месяца обходиться без воздуха.

Я согласился и три дня с утра до обеда просиживал под водой, вылезая, только чтобы отдохнуть и поговорить с Сашей, который лежал на берегу голый, уткнувшись в записную книжку: он отмечал, сколько максимально времени человеческая особь может провести под водой.

Не помню, когда еще испытывал я такую гнетущую тоску, как в эти минуты, сидя на дне с открытыми глазами и чувствуя, как из меня медленно уходит жизнь. Я выходил синим, а Саша почему-то считал, что нырять нельзя, пока я не стану выходить красным. Наконец однажды я вышел не очень синим, и Саша разрешил нырять. Он велел мне углубляться постепенно, под

углом в двадцать пять - тридцать градусов, но я сразу ушел глубоко, потому что боялся напороться на бревно с гвоздями. Но поздно было думать о гвоздях, потому что плот уже показался над моей головой - неузнаваемый, темный, с колеблющимися водяными мхами. По-видимому, я заметил эти мхи прежде, чем стал тонуть, потому что сразу же мне стало не до них и захотелось схватиться за бревна, чтобы как-нибудь раздвинуть их и поскорее вздохнуть. Но и эта мысль только мелькнула, а потом слабый свет показался где-то слева, совсем не там, куда я плыл, крепко сжимая губы. Нужно было повернуть туда, где был этот свет, эта зеленоватая вода, колеблющаяся под солнцем. И я повернул. Теперь уже я не плыл, а перебирал бревна руками, а потом уже и не перебирал, потому что все кончилось, свет погас... Я очнулся на плоту и еще с закрытыми глазами услышал те самые слова, за которые не любил друзей нянькиного кучера. Слова говорил плотовщик, а Саша сидел подле меня на корточках, похудевший, с виноватым лицом. Я утонул, но не совсем. Щекастая девчонка, сидевшая на краю плота, болтая в воде ногами, услышала бульканье, и плотовщик схватил меня за голову, высунившуюся из-под бревен.

Прошло несколько лет, и я понял, что кроме физической храбрости есть и другая, нравственная, которую нельзя воспитать, ныряя под плоты или прыгая с берега на сосну с опасностью для жизни.

Кажется, это было в третьем классе. Алька Гирв нагрубил Бороде - это был наш классный наставник, - и тот велел ему стоять всю большую перемену у стенки в коридоре, а нам - не разговаривать с ним и даже не подходить. Алька стоял, как у позорного столба, и презрительно улыбался. Он окликнул Таубе и Плескачевского, но те прошли, разговаривая, - притворились, подлецы, что не слышат. Мне стало жалко, и я вдруг подошел к нему, заговорив с ним как ни в чем не бывало.

Мы немного поболтали о гимнастике: правда ли, что к нам приехал чех, который будет преподавать сокольскую гимнастику с третьего класса? Борода стоял близко, под портретом царя. Он покосился на меня своими маленькими глазками, но ничего не сказал, а после урока вызвал в учительскую и вручил "Извещение".

Ничего более неприятного нельзя было вообразить, и, идя

домой с этой аккуратной, великолепно написанной бумагой, я думал, что лучше бы Борода записал меня в кондуит. Отец будет долго мыться и бриться, мазать усы каким-то черным салом, а потом наденет свой парадный мундир с медалями - и все это сердито побряхтывая, не укоряя меня ни словом. Лучше бы уж пошла мать, которая прочтет "Извещение", сняв пенсне, так что станут видны покрасневшие вдавленные полоски на переносице, а потом накричит на меня сердито, но как-то беспомощно. Ужасная неприятность!

Пошла мать и пробыла в гимназии долго, часа полтора. Должно быть, Борода выложил ей все мои преступления. Их было у меня немало.

Географ Островский запнулся, перечисляя правые притоки Амура, я спросил: "Подсказать?" Островский был вспыльчивый, но слабовольный, на его уроках шумели, разговаривали, играли в морской бой, и я даже жалел его - у него всегда было измученное лицо. Сам не знаю, почему я так нахально предложил ему подсказать.

Инспектор Емоция встретил меня на Сергиевской после семи и записал -это была верная четверка по поведению. Словом, были причины, по которым я бледнел и краснел, ожидая маму и нарочно громко твердя латынь в столовой.

Она пришла расстроенная, но чем-то довольная, как мне показалось. Больше всего ее возмутило, что я хотел подсказать географу притоки Амура.

- Я не знала, что мой сын хвастун,- сказала она с презрением.

- И трус,- сказал я и заплакал. Это был позор, тем более что еще утром Саша рассказал мне о спартанском мальчике, который запрятал за пазуху украденную лису и не плакал, хотя она его истерзала. Но я не заревел, а просто вдруг закапали слезы. Мама села на диван, а меня посадила рядом.

- Нет, совсем не трус,- сказала она.

Пенсне на тонком шелковом шнурке упало, вдавленные красные полоски на переносице побледнели.

- Я сказала вашему Бороде, что горжусь тем, что ты подошел к Гирву,-сказала она. - Подрывать чувство товарищества - это еще что за метод!

Она стала длинно объяснять, как, по ее мнению, должен был в данном случае поступить классный наставник. Я не слушал ее. Неужели это правда? Я не трус?

Целое лето я старался доказать себе, что я не трус, и, даже сидя под водой, мучился, думая, что лучше умереть, чем бояться всю жизнь. А оказалось, что для этого нужно было только поступить так, чтобы потом не было стыдно.

На весенние каникулы сестра Лена приехала с подругой Соней Тулаевой, армянкой, что само по себе было интересно. Соня носила кольца, браслеты и ходила в модном костюме - юбка до щиколоток и жакет с отворотами, на котором блестели большие перламутровые пуговицы. Она была добрая, смуглая, с угольно-черными глазами, и нравилась всем, может быть отчасти потому, что говорила с легким акцентом.

Каждый день приходили товарищи Льва. Особенная атмосфера бесконечных споров, влюбленности, смеха все перепутала в нашем и без того беспорядочном доме. Родители сердились, шумные разговоры в комнате Льва не давали отцу уснуть. Мать хмурилась, но терпела...

В этот день мне исполнилось десять лет, и я был огорчен, что домашние забыли об этом.

День начался с обиды, а кончился ошеломившей меня догадкой, что, в то время как я читаю, сплю, готовлю уроки, на земле происходят тысячи несправедливостей, которым я не могу помешать.

Утром мы с сестрой Леной долго ходили обнявшись в полутемной столовой, и было приятно, что она говорит со мной так серьезно. Она упрекала меня за то, что, когда офицеры и студенты разговаривали об артистке Донской, я вмешался и сказал: "В глазах - рай, в душе - ад". По ее мнению, я слишком рано развился, глаза у меня, например, совсем не такие, как у других детей в моем возрасте. С упавшим сердцем я долго рассматривал себя в зеркале. Да, сестра права. Но как поступить, чтобы не развиваться рано?

Потом она забыла обо мне и вспомнила, только когда ей нужно было послать секретку студенту, который в брюках со штрипками, положив ногу на ногу, ждал в Губернаторском садике на скамейке. Я отдал ему секретку, он вскочил, прочел и побледнел. Мне стало жаль его, и, вернувшись, я не очень-то вежливо потребовал пирожное, которое Лена обещала, если я отнесу записку. Она купила, но не сразу, а сперва долго расспрашивала, что он сказал да как вскочил. Это было противно.

Как поступить, чтобы меня заметили и вместе с тем чтобы мне не очень попало? Обо мне вспоминали только за столом или вечером, когда мама приходила, чтобы посмотреть, не подложила ли нянька что-нибудь мягкое на кровати. Мы с Сашей спали на

досках, едва прикрытых тощими сенниками.

Можно было, конечно, стащить у отца наусники, в которых он спал, чтобы усы торчали вверх, как у Вильгельма II, или мамин валик, который она подкладывала в прическу. Но это как-то не соответствовало моему серьезному настроению.

Весеннее утро - с солнцем, огибающим дом, с пылинками в столбах света, лежавших поперек комнат, с бесцельным слонянием по двору - переходило в полдень, а я все не мог найти себе дела. Порешать, что ли, задачки? Я порешал, и все равно осталось еще много времени; медленно делившегося на часы, минуты, секунды. Чувство неприкаянности и прежде тяготило меня, а в этот день явилась еще и странная мысль, что, если бы меня вовсе не было, ничего бы не изменилось.

Может быть, я нужен маме? Тогда почему она никогда не говорит мне об этом? Или няньке? Прежде я, несомненно, был нужен няньке. Но теперь я вырос, и, если бы меня не было, она просто стала бы готовить двумя котлетами меньше.

Может быть, я нужен царю? Отец Кюпар говорил, что царю нужны все, вплоть до последнего человека. А когда я спросил, нужны ли ему также животные, например собаки, он рассердился и сказал, что сразу видно, в какой семье я расту. Накануне я впервые прочел "Ревизора", и больше всех мне понравилось то место, где Бобчинский просит сказать царю, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. На его месте я поступил бы так же.

Я не стал готовиться к побегу, потому что мне всегда казалось, что это почти одно и то же - сделать что-нибудь в уме или на самом деле. Зато прощальную записку я оставил самую настоящую, чтобы ее заметили все. На листе бумаги я написал печатными буквами: "Прошу в моей смерти никого не винить". И прикрепил этот лист к стенке в столовой. Потом простился с Престой, стащив для нее кусок сахара, и ушел.

...Знакомые улицы, по которым я тысячу раз ходил, знакомые лавки, знакомый усатый сапожник на углу Гоголевской, реальное училище, пожарная команда...

...Пристав проехал в пролетке, изогнувшись, выставив грудь, покручивая усы, и вдруг отдал честь даме в шляпе со страусовым пером. И она пошла потом так, что даже по ее спине было видно, как она довольна тем, что ей поклонился этот представительный пристав.

Мне было страшновато, и я заложил руки в карманы и посвистывал, чтобы показать, что я не боюсь. Я шел улыбаясь - мне казалось, что нужно улыбаться даже незнакомым, потому что они ведь ничем, в сущности, не отличаются от знакомых. Сегодня

они незнакомые, а завтра мы можем познакомиться. Но пока будущие знакомые смотрели на меня как-то странно, а один даже сочувственно покачал головой, так что вскоре я перестал улыбаться.

Мужики везли дрова вдоль Кохановского бульвара, немазанные колеса скрипели. Солдатская фура проехала, кучер-солдат подхлестывал лошадей. Теперь было совершенно ясно, что я убежал из дома. Записку мою, конечно, прочли, и нянька небось подняла весь дом и побежала за мамой, которая в эти часы давала уроки музыки барышням Фан-дер-флит. Но мама все-таки кончила урок, а уж потом пошла домой и, волнуясь, сняв пенсне, читает мою записку. Мне стало так жаль себя, что я чуть не заплакал.

Сухари, по-видимому, нужно было взять с собой не только в уме. Было уже время обеда, и я попробовал пообедать в уме. Но из этого ничего не вышло, хотя было невозможно более отчетливо увидеть, как я ем суп с большим, густо посоленным куском хлеба.

Да, дома сейчас обедают. Саша, положив перед собой книгу, жрет щи и не думает о втором, которое он сейчас получит.

За казармами Иркутского полка начиналась большая грязная привокзальная площадь. На дорожке, по которой шли к вокзалу, стояли какие-то люди, небольшая толпа; до меня донеслись невнятные, возмущенные голоса, и я подошел поближе.

Молодая женщина лежала на земле, пьяная, растерзанная, и я с ужасом узнал в ней Матрешу, прислугу купца Петунина, нашего соседа. Всегда она одевалась, как барышня. В хорошеньком платье, с бантами, она приходила к няньке жаловаться, что у Петуниных кто-то пристаёт к ней. У нее был негромкий, мягкий смех, от которого у меня сладко замирало сердце. Она убегала, снова прибегала, я издали узнавал стук ее каблучков. Мне казалось, что все влюблены в нее и хотят, чтобы она всегда так нежно, мелко смеялась и чтобы ее легкая, живая фигурка в платье с бантами так волшебным мелькала среди деревьев нашего сада.

Теперь она валялась на земле, задирая юбки, невнятно, пьяно бормоча что-то, я расслышал только: "На, кто еще хочет, а мне наплевать",- и со сладким, страшным ударом в сердце увидел я голые белые женские ноги. Подбежал, придерживая шашку, городской, закричал: "Разойдись!" Но никто не ушел. Все стояли, смотрели, смеялись. В толпе были молодые татары, и, несмотря на оторопь и волнение, я догадался, что все они сыновья и племянники старого Таканаева, который держал буфет на вокзале. Подъехал извозчик. Городовой сгреб Матрешу, бросил ее поперек пролетки, как кладь, уселся и крикнул: "Пошел!" Толпа разошлась не спеша.

Я стоял оглушенный. Нянька как-то сказала, что Петунин выгнал Матрешу и она стала "гулящей". Так вот что это значит! Боже мой, так вот что это значит!

Я пошел по шоссе, потом свернул в редкий еловый лесок и стал бессмысленно ходить туда и назад вдоль косых теней на траве. Как смел я огорчаться, что на меня не обращают внимания, если Матреша, растрепанная, опухшая и, кажется, с выбитыми зубами, валялась на земле и бормотала что-то постыдное, невозможное, а мужчины слушали ее и смеялись. Мне было стыдно теперь, что я жадно смотрел на ее голые ноги и что мне хотелось смотреть еще и еще.

Я вернулся домой только вечером. Есть уже не хотелось, но я заставил себя сесть за стол. Моя записка висела на прежнем месте. Никто не заметил, что я убежал из дома, даже нянька, может быть потому, что ее кучер в этот день приходил к ней и грозился убить. Саша сыпал соль в банку с водой, из которой торчала ржавая проволока,- он считал, что таким образом можно вырастить искусственный кристаллический сад. Мама пришла усталая, и я слышал, как она сказала няньке: "Ох, не могу".

Студенты громко спорили в комнате старшего брата. Отец ворчал, ему мешали уснуть. Нянька ворочала ухватами, пекла хлеб на кухне. Почему у нас пекут всегда вечером или даже ночью?

Я не могу уснуть от тоски, от сладкого, томительного волнения, от жалости к Матреше, соединившейся с еще неясным сознанием своей вины перед ней. Все мужчины были перед ней виноваты. И мой отец, который мог сказать что-нибудь грязное и засмеяться, показывая белые зубы, и мои братья, и я. И купец Петунин, который выгнал ее, и прохожие, которым она говорила: "Кто еще хочет, а мне наплевать".

И прежде я писал о Пскове - в рассказах, в романе "Два капитана". Но, принимаясь за эту книгу, я снова поехал в родной город и лишь теперь узнал его, как узнают после долгой разлуки полузабытые черты старого друга. Он изменился. И новое, и старое похорошело. Просмоленные черные доски тянутся над крепостными стенами, конусообразные шишаки покрывают башни, решетчатые ворота из бревен в полтора обхвата запирают форпосты. Реставраторы смело воспользовались деревом - без дерева картина Древней Руси неполна. Впечатление грозной уверенности смешивается с чувством подлинности, непонятная грусть - с восхищением перед соразмерностью пропорций. Вкус не изменял псковичам и в деле войны.

Я вспоминаю, что в перечне тысяч причин, по которым сохранилась псковская старина, ничтожная доля принадлежит и мне. О том, что я коренной пскович и люблю свой город, знали мои друзья. Среди них был ленинградский режиссер, а во время войны - артиллерийский капитан, Сергей Александрович Морщихин, с которым мы не раз беседовали о старом Пскове. Любитель и знаток русской старины, он направлял огонь своих орудий, не очень жалея Псков XIX века, с его "присутственными местами", но стараясь по возможности сохранить опоясывающие город крепостные стены, бесценные храмы, Поганкины палаты и другие старинные здания.

Я бы не удивился, узнав, что в его планшете лежала известная карта 1694 года с надписями: "Река Пскова течет через город" и "Середний город по досмотру осыпался починить не мочно". В 1918 году, когда германская армия наступала на Псков, гимназисты шестого "б" класса изучали эту карту, рассчитывая предложить Военно-революционному комитету свой план обороны.

Некогда я хвалился своей способностью почти безошибочно угадывать в пожилом человеке - учился ли он в реальном училище или в гимназии. В бывших гимназистах оставалось

нечто беспечное, неожиданное, скептическое. Напротив, реалисты были подтянуты, всегда вровень с собой и не очень-то позволяли судьбе устраивать для них ловушки и неожиданные повороты.

Этим различиям, как ни странно, соответствовали в моем представлении даже цвета: гимназисты - васильковый, реалисты - желтый. Впрочем, это легко объясняется тем, что гимназисты носили васильковые фуражки с белым кантом на тулье, а реалисты - черные с желтым кантом

Из моих друзей типичным "старым гимназистом" был, без сомнения, Константин Георгиевич Паустовский с его скромностью, сквозь которую просвечивала лихость, с его любовью к происшествиям, из которых, в сущности, и должна состоять жизнь, с его молодыми уходами в музыку в живопись, в природу.

Васильковая фуражка со сломанным козырьком, сбита на затылок, чудилась мне на седой голове Корнея Ивановича Чуковского. В разговоре он мог внезапно схватить за ножки стул и бросить его своему собеседнику - волей-неволей тот должен был подхватить стул и бросить его обратно. "Никогда не знаешь, что будешь делать в следующую минуту",- сказал он мне однажды. Трудно представить себе, что эти слова могут принадлежать человеку, который некогда носил скучную черную фуражку с желтым кантом. Нет, это было что-то очень васильковое, немного актерское, с белым кантом и естественным желанием расшевелить машинальное существование.

Все это я веду к тому, что в этот свой приезд я познакомился с Николаем Николаевичем Колиберским, старейшим преподавателем Первой школы, в котором мне сразу же почудились эти, милые моему сердцу, гимназические черты.

Много лет назад я видел английский фильм "Good bye, mister Chips!" ("До свиданья, мистер Чипс!"). Жизнь полустолетия, показана в ней, как через фокусирующее стекло; линза сосредоточена на жизни школьного учителя, поглощенного своим призванием. История простая, обыкновенная, даже, может быть, немного скучная. Вы почти не замечаете "шума времени", он доносится лишь как эхо событий, потрясавших страну. Равными долями, день за днем, год за годом уходит жизнь мистера Чипса. В предсмертном полусне, в дремоте кончины его ученики являются к нему, чтобы проститься: "Good -bye, mister Chips!" За полустолетие форма изменилась, школьники восьмидесятых годов в кепи и мундирчиках, застегивающихся до самого подбородка, не похожи на поколение своих детей, в коротеньких пиджаках с узкой талией, дети не похожи на внуков. Это, кажется, единственный признак невозвратимости, который обратным

светом озаряет жизнь учителя, скромно спрятавшуюся в глубину глубин повторяющейся жизни школы...

Николай Николаевич чем-то напомнил мне мистера Чипса. Конечно, это был очень русский мистер Чипс, высокий, чуть сгорбленный, с добрым лицом и пышными табачно-седыми усами.

Память его, фотографическая, объективно-рельефная, меня поразила. Он помнил все - и то, что касалось его, и то, что не касалось.

Я забыл, почему Псковскую гимназию пышно переименовали в гимназию Александра Первого Благословенного. Он объяснил - в связи со столетием Отечественной войны. О том, как Псков отмечал трехсотлетие дома Романовых, он рассказал с удивительными подробностями - а мне помнились только дымные, горящие плошки на улицах. Верноподданническую кантату, которую гимназисты разучивали к этому дню, он знал наизусть:

Была пора, казалось, сила
Страны в борьбе изнемогла.
И встала Русь и Михаила
К себе на царство призвала.
В годину тяжких испытаний,
Любовью подданных силен,
Царь поднял меч, и в громе брани
Навеки пал Наполеон.
Вот почему и в бурях бранных
И в мирный час из рода в род
Святая Русь своих державных
Вождей и славит и поет.

Летом гимназисты ходили в белых коломьянковых гимнастерках, воротник застегивался на две или три светлые металлические пуговицы. Но Николай Николаевич напомнил мне и парадный костюм гимназиста, который в годы моего детства уже никто не носил: темно-зеленый однобортный костюм шился в талию, с прямым, стоячим воротником на крючках.

Потом пошли формы женских гимназий Александровской, Агаповской и Мариинской - какого цвета платья, какие передники, праздничные и ежедневные. Ученицы казенной Мариинской женской гимназии носили на берете значок - МЖГ, что расшифровывалось: милая женская головка.

"Александровки" в темно-красных платьях и белых передниках уж во всяком случае должны были запомниться мне! Однажды, проходя мимо этой гимназии, я засмотрелся на девочек, торчавших в распахнутых (это было весной) окнах, и

больно треснулся головой о телеграфный столб. "Александровки" чуть не выпали из окон от смеха, а я добрых две недели ходил с шишкой на лбу.

Николай Николаевич окончил гимназию годом позже, чем я поступил, но оказалось, что те же преподаватели: Коржавин, Попов, Бекаревич - учили нас истории, литературе, латыни. Да что там преподаватели! Мы начали со швейцара Филиппа, носившего длинный мундир с двумя медалями и похожего на кота со своей мордочкой, важно выглядывающей из седой бороды и усов. Я не знал, что фамилия его была Крон. Он был, оказывается, латыш, говоривший по-русски с сильным акцентом, - вот почему я подчас не мог понять его невнятного угрожающего ворчания.

- Тюрль, юрль, юта-турль? - спросил Николай Николаевич.

- Ну как же! Это называлось "гармоники": схватив цепкой лапой провинившегося гимназиста и крепко, до боли, прижимая к ладони его сложенные пальцы, Филипп тащил его в карцер, приговаривая: "Тюрль, юрль, юта-турль". Впрочем; карцера у нас не было, запирали в пустой класс.

Помаргивая добрыми глазами и подправляя без нужды седые усы, Николай Николаевич дарил каждому из гимназических деятелей не более двух-трех слов. Однако, как на пожелтевшем дагерротипе, я увидел плоское лицо законоучителя отца Кюпара, с зачесанными назад, тоже плоскими, волосами, его быструю, деловую, не свойственную священническому сану походку, холодный взгляд. Письмоводитель Михайлов - это я помнил - был похож на большого неприбранного пса.

Мы вспомнили Николая Павловича Остолопова, преподавателя математики, у которого я занимался четыре года. Это был высокий красивый белокурый человек с влажно-голубыми, немного навывкате глазами, только что окончивший университет, считавшийся либералом и похожий на виконта Энн де Керуэль де Сент-Ив, обожаемого мною героя стивенсоновского романа.

После первого же урока стало ясно, что (хотя его фамилия невольно подсказывала обидное прозвище) он - в отличие от "Саньки Капусты", "Бороды" и т. д. - его не получит.

Николай Павлович прочитал нам лекцию о единице, как философском понятии, определяющем три элемента: массу тела, пространство и время.

- Анализ измеряемых величин,- утверждал Николай Павлович,- неизбежно приводит к возникновению абсолютных систем, которые разумнее было бы называть рациональными, поскольку в их основе лежит допущение, не представляющее

собой абсолюта.

Мы только что перешли из приготовительного класса в первый, самому старшему из нас, Ване Климову, было одиннадцать лет. До сих пор, обнаруживая в своих тетрадях единицу, или так называемый кол, мы не задумывались над его философским значением. Кол был кол - между тем, подтверждая картинными жестами свои рассуждения, Николай Павлович прочитал нам о нем целую лекцию, в которой мы, разумеется, не поняли ни слова.

Прозвенел звонок, Остолопов закончил урок длинной загадочной фразой, и мы вышли тихо, с чувством глубокого, незнакомого, взрослого уважения к себе. За кого же принимал нас новый учитель? Почему-то нам не хотелось, как всегда на переменах, сломя голову носиться по коридору. Напротив, хотелось сказать или хоть подумать что-нибудь умное...

Я ничему не научился у Николая Павловича, и не только потому, что с помощью математики ничего нельзя увидеть хотя бы в воображении, как на уроках географии или литературы... Он часто таращил глаза, и тогда казалось, что сейчас он скажет нечто значительное, а он говорил, например: "Кто дежурный?" или с иронией: "Опять забыли тетрадь дома на рояле?" Но все-таки он был приятный. Жаль только, что мы ничего не понимали в его лекциях. Иногда он и сам запутывался и тогда спрашивал: "Теперь ясно?" Впрочем, убедившись в сложности своего метода, он круто повернул к реальности и попытался придать изучению дробей спортивный характер. Мы наперегонки решали задачи, а он расхаживал по классу, заглядывая в тетради и громко провозглашая, кто уже близок к финишу, а кто застрял в двух шагах от старта. Задачи он любил затейливые; одна из них решалась, помнится, с помощью азбуки: трехзначное число надо было заменить буквами алфавита, и получалось женское имя Ида.

Об Остолопове, который, влетая в класс на длинных ногах, прежде всего брал тряпку и стирал с доски женское имя - он был холост и влюбчив, - рассказывал главным образом я. Николай Николаевич занимался у другого математика, Дмитрия Михайловича Ляпунова. Но вот мы вспомнили историю одного поцелуя и заговорили, перебивая друг друга.

В этой трагикомической, вздорной истории мне мерещатся теперь щедринские черты. В течение трех месяцев большой

губернский город, в котором было восемь средних учебных заведений и Учительский институт, говорил только о том, поцеловал ли мой старший брат гимназистку Полю Ромину - или не только поцеловал. Семья Роминых была влиятельной, заметной, отец служил, кажется, в губернском правлении. Он пожаловался директору гимназии, директор вызвал родителей, и стало известно, что Льву грозит исключение. Он уже был тогда центром семьи, ее неназванной, молчаливо подразумеваемой надеждой. Прежде семейное честолюбие было воплощено в сестре Лене, с четырнадцати лет учившейся в Петербургской консерватории по классу известного Зейферта. Она играла на виолончели, у нее был "бархатный тон", считалось, что она окончит с серебряной медалью. Золотую должна была получить какая-то хромая, которая играла хуже сестры, но зато ей покровительствовал сам граф Шереметев. На последнем курсе, перед выпускными экзаменами, сестра переиграла руку. Музыканты знают эту болезнь. Рука стала худеть, пришлось отправить сестру в Германию, дорогое лечение не помогло, влезли в долги, и упадок семьи начался, мне кажется, именно в эту пору.

Теперь опасность грозила Льву - и самая реальная, потому что ссора между его защитниками и противниками сразу же приняла политический характер. Первой раскололась гимназия: демократы были - за, монархисты - против. Потом, к неудовольствию директора, недавно назначенного и стремившегося умерить волнение, Агаповская женская гимназия устроила брату оvation. Казенная Мариинская сдержанно волновалась.

В кулуарах городской думы гласные обсуждали вопрос о падении нравственности среди учащихся средних учебных заведений, и друг нашей семьи журналист Качанович хлопотал, чтобы история не попала в газеты.

Мама похудела и перестала спать. И прежде на ее ночном столике каждый вечер появлялся порошок пирамидона. Теперь, не жалуясь, она подносила руку к виску, на котором сильно билась голубая жилка. По-видимому, надо было ехать в Петербург, на прием к графу Игнатьеву - министру народного просвещения. Граф, по общим отзывам, был прогрессист.

Тринадцать семиклассников подали заявление с просьбой оставить брата в гимназии. Просьба должна была рассматриваться в педагогическом совете, и представители класса решили посетить учителей, чтобы заручиться их поддержкой.

Прежде всего гимназисты отправились к математику Ляпунову. Прозвище его было "Орел" - и действительно, в его

внешности было нечто орлиное. Он был горбонос, высок, полноват, с не улыбающимися темными глазами - и решительно не походил на своего предка Прокопия Ляпунова, изменившего Лжедмитрию, Ивану Болотникову, Тушинскому вору, Василию Шуйскому и, наконец, польскому королевичу Владиславу, против которого он сражался вместе с Пожарским, освобождая Москву.

Дмитрий Михайлович не изменял своим убеждениям, держался независимо, ставил сыновьям губернатора единицы и в любое время принимал гимназистов у себя на дому.

Как истый математик, он прежде всего спросил, сколько раз мой брат поцеловал гимназистку. "Один раз",- ответили гимназисты. "Мало,- серьезно сказал Дмитрий Михайлович. - Пятнадцать, двадцать - тогда стоило бы, пожалуй, обсудить этот прискорбный случай на педагогическом совете".

Семиклассники расхохотались и ушли, заручившись обещанием Ляпунова голосовать против исключения брата.

От Ляпунова делегация направилась к Рудольфу Карловичу Гутману, преподавателю французского языка, богатому человеку, имевшему даже собственный выезд - это было редкостью в Пскове. На уроки он приходил в изящной визитке, обшитой шелковым кантом. Он носил эспаньолку, золотистые усы и, кажется, парик - по крайней мере, так выглядела его пышная шевелюра. На уроках он с увлечением рассказывал о Париже и ставил пятерки, не заглядывая в тетради. В третьем классе, к изумлению нового преподавателя, я спутал *les enfants* с *les ййphants*, то есть детей со слонами.

Выслушав делегацию, Рудольф Карлович расхохотался, а потом с увлечением ударился в подробности, потребовав чтобы делегаты рассказали ему " всю историю отношений между молодыми людьми". Истории не было, но семиклассники что-то сочинили, и он отпустил их, заметив, что в Париже никому не пришло бы в голову обвинять гимназиста за то, что он поцеловал гимназистку.

От Гутмана делегация направилась к преподавателю математики и физики Турбину, которого гимназисты вопреки его почтенному возрасту, непочтительно называли "Санька Капуста".

Александр Иванович Турбин был человеком необыкновенным. У него было странное, отрешенное лицо с удлиненным крючковатым носом, с взъерошенными волосами. В гимназии он был рассеян и существовал машинально. Настоящая жизнь начиналась дома, где он ходил нагишом, решая какую-то задачу, над которой более трехсот лет бились выдающиеся математики всего мира. Письменные работы Турбин оценивал так: за первую по порядку он ставил тройку, за вторую - $\frac{2}{3}$, за

третью - два с плюсом. Иногда, взглянув на фамилию, выставленную на тетради, он ставил четыре и даже - очень редко - пять. Непостижимое чутье безошибочно подсказывало ему, списана работа или нет, или, если списана, то полностью или отчасти. И когда притворно расстроенный гимназист подходил к нему с безукоризненным решением, Александр Иванович, помаргивая, прибавлял к двойке плюс, а иногда минус.

Делегацию, как и ожидали гимназисты, Турбин принял своеобразно. Приоткрыв входную дверь, он сказал: "Александра Иваныча дома нет". Потом, накинув халат, он все-таки впустил делегацию и, выслушав ее, покачал головой: "Ах, мерзавец! Ах, мерзавец!" Потом он снова сказал, что его нет дома, а когда гимназисты стали возражать, спросил с возмущением: "Как вы смеееете своему преподавателю не верить?" Огорченные семиклассники удалились, а через несколько дней узнали, что Турбин был самым энергичным защитником брата на заседании педагогического совета.

Эти забавные подробности я узнал из воспоминаний Августа Андреевича Летавета. Но для нашей семьи в этой истории не было ничего смешного. Мать поехала в Петербург, была принята графом Игнатьевым и вернулась с торжеством - министр обещал поддержку. Думаю, что умный и дальновидный директор все равно не допустил бы исключения - недаром впоследствии он с подчеркнутым вниманием относился к брату. Пятерка, которую он поставил на выпускном экзамене против двойки латиниста, была отдаленным отзвуком "истории одного поцелуя".

Впрочем, она не закончилась на заседании педагогического совета, постановившего без наказания оставить брата в гимназии. Вражда между демократами и монархистами продолжалась, брату был объявлен бойкот, в бумагах Летавета сохранилось заявление (написанное рукой Юрия Тынянова), в котором демократы требовали, чтобы "бойкот, объявленный Льву Зильберу", был распространен и на них.

Впервые за десятки лет восьмиклассникам не удалось договориться о едином выпускном жетоне. Жетон демократов с надписью "Счастье в жизни, а жизнь в работе" сохранился у брата.

Каждый день я ходил Государственный областной архив и перелистывал дела Псковской гимназии. Архив помещается в маленькой церкви против Первой школы - таким образом, мне

стоило лишь перейти улицу, чтобы с размаху окунуться в архивные дела Псковской гимназии.

Каким чудом сохранились они в те дни, когда наши артиллеристы - и среди них мой приятель С. А. Морщихин - последовательно сокрушали бывшие "присутственные места", где, надо полагать, и хранились архивы? Кто знает! Но сохранились же! Впрочем, пушечная пальба сопровождала и самое возникновение будущей Псковской гимназии.

Вот что я прочитал в ее печатной "Истории с 1833 по 1875 год":

"Энергичная в преследовании своих целей Великая Государыня... составила особую комиссию об учреждении народных училищ. На этом основании 22 сентября 1776 года в день коронации Государыни в 10 часов утра в доме Правителя-наместника Ивана Алферьевича Пиль собрались все находившиеся в городе чины, как духовные, так и светские... После молебствия, по провозглашении многолетия Царской фамилии, произведена была пушечная пальба..."

Я встретил жалобы родителей на жестокое обращение с учениками: в 1819 году сын коллежского асессора Дероппа был жестоко высечен розгами за то, что он, "будучи неисправен по классу, производил разные неприличные в тетрадах изображения". Штатный смотритель в Великих Луках сажал провинившихся учеников на цепь...

Надо признаться, что с каким-то вкусным чувством перелистывал я старые бумаги. Эти пожелтевшие листы напомнили мне студенческие годы, когда в рукописном отделении библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, читая "Повесть о Вавилонском царстве", я дивился искусству русских переписчиков шестнадцатого века. Неизвестное, незамеченное, обещающее вновь заманчиво померещилось мне - и стало весело от одного запаха архивной пыли. Да и, не знаю почему, я был почти уверен, что эти, казалось бы, никому не нужные дела, в которые никто не заглядывал добрую сотню лет, покажутся занимательными для иных читателей этой книги.

Вот передо мной протокол заседания от декабря 1880 года. Среди членов педагогического совета - знакомые имена К. И. Иогансона и А. И. Турбина. Турбин еще служил, а Иогансон вышел на пенсию в 1912 году, когда я поступил в гимназию. Его дочь - длинная, худая, белокурая, с маленькой головкой -учила нас немецкому языку, впрочем недолго. Когда, подражая старшим, мы распевали за ее спиной:

Карл Иваныч Иогансон

Ходит дома без кальсон, -

она только ускоряла шаг, краснея и презрительно поджимая губы.

Я вытащил протокол 1880 года наудачу и, полюбовавшись добротной бумагой, исписанной затейливой канцелярской рукой, решил, что стоит сказать о нем несколько слов. С начала до конца заседание было посвящено ученику VII класса Александру Заборовскому. Директор, инспектор, двенадцать преподавателей и два классных наставника разбирали поведение юноши, который всегда был на отличном счету и вдруг оказался непристойным шалуном и нахалом.

Фамилия Заборовакого снова встретилась мне, когда я перелистывал дела, относящиеся к "волчьим билетам" - так на гимназическом языке называлось свидетельство, лишавшее исключенного ученика права поступать в другие учебные заведения.

Заборовский был исключен с "волчьим билетом" из Воронежской гимназии (куда он был переведен из Псковской) за "активное участие в нелегальном кружке".

Содержание "волчьих билетов" могло бы, мне кажется, заинтересовать историков, изучающих состояние русского общества на рубеже XIX и XX веков. Число их после 1881 года неуклонно поднимается. Поводы - если вспомнить, что речь идет о подростках, едва достигших семнадцати лет, - изумляют.

Семиклассник Валериан Пчелинцев. получил "волчий билет" "за вооруженный грабеж". Шестиклассник Меер Вильнер - "за нанесение инспектору огнестрельных ран, от которых последовала смерть последнего...". Другие - "за вызывающе-дерзкую приписку к школьному сочинению"... "За вымогательство денег и угрозу в письме почетному посетителю"... "За покушение на убийство директора"... "За принадлежность к партии социалистов-революционеров". Среди "волчьих билетов" встречаются и загадочные. Один из них был оглашен в декабре 1912 года: "Государь император повелеть соизволил лишить навсегда кадета Одесского корпуса Уланова Павла права поступить в какое-либо учебное заведение Российской Империи". Причина не указывалась. Можно предположить, что кадет Уланов был наказан за оскорбление царской фамилии.

Впрочем, этот "волчий билет" я встретил уже тогда, когда, соскучившись, перемахнул через тридцать лет и стал перелистывать архив Псковской гимназии с 1912 года. Жизнь изменилась. Изменилось и отражение ее в протоколах педагогического совета. Вы не найдете в них и тени психологического подхода к повседневной жизни гимназии, характерного для восьмидесятых годов. Это - сухой, холодный

перечень, в котором и повседневные, и мировые (война 1914 года) события встречают одинаково равнодушное отношение.

Была, впрочем, и особенная причина, заставившая меня с пристрастием допрашивать работников Псковского архива - не сохранились ли гимназические "дела" первых послереволюционных лет. В 1918 году, когда город был занят немецкими войсками, я сам был исключен с "волчьим билетом", - по-видимому, педагогический совет еще надеялся на восстановление министерства народного просвещения. К сожалению, многие папки были "утрачены при перевозке", и мне не удалось познакомиться с официальным объяснением одной истории, которая была связана с душевным испытанием, впервые столкнувшим меня с идеей ответственности, с необходимостью выбора между пустотой предательства и сложностью правды.

В одном из протоколов 1913 года я наткнулся на список учеников первого класса. Это были только имена, но за каждым возникал портрет (и не контурный, как это было, например, с Веретенниковым, о котором я помнил только, что он был рыжий, а рельефный, объемный).

Кто не знает выражения "лицо класса", часто встречающегося в современных педагогических книгах? Я мог бы написать это лицо в отношении психологическом, живописно-цветовом и социальном. Кстати, сведения о социальном составе повторялись ежегодно: так, в 1916 году в гимназии учились: детей дворян и чиновников - 171, почетных граждан - 42, духовенства - 26, мещан - 158 и крестьян - 166.

Не думаю, что наш класс отличался от других в социальном отношении - кроме, впрочем, одного исключения: с нами учился сын камергера, вице-губернатора Крейтона.

Это был чистенький, аккуратный мальчик, затянутый, с красными бровками. Мы его ненавидели за то, что в гимназию его привозил экипаж. Все ему было ясно, и все он старательно объяснял уверенным, тонким голосом. Но, очевидно, кое в чем он все-таки не был уверен, что неопровержимо доказывает постановление педагогического совета от 25 февраля 1913 года. Оно даже озаглавлено - случай сравнительно редкий:

"Инцидент в первом классе 24 февраля.

Классный наставник, наблюдая за учениками, заметил, что за Крейтоном ходит целая толпа товарищей. Когда наставник спросил об этом Крейтоне, тот показал крайне неприличный жест и спросил, что это значит. Классный наставник задержал Крейтоне после уроков и стал расспрашивать, кто показал ему этот жест. Но последний не указал, ссылаясь, что вокруг него шумели. Тогда классный наставник, закрыв класс на ключ, стал

спрашивать каждого ученика отдельно. Но никто не сознался, кроме Теплякова, который до некоторой степени признал себя виновным. При дальнейшем расследовании признался также Крестовский. Выяснилось, что во время урока Закона Божьего Тепляков показал этот жест Крейтону и посоветовал ему спросить, что он означает, у своей гувернантки. Директор, которого поразила гнусность факта - не только наивному ребенку был показан крайне безнравственный жест, но развращение производилось на уроке Закона Божьего,- удалил Крестовского и Теплякова из стен гимназии своей властью вплоть до решения Педагогического совета".

Я помню день, когда это постановление было прочитано в классе. Крейтон отсутствовал. У Крестовского накануне умер отец, и хотя он был "из посадских", держался замкнуто и грубо, все же мы сочувственно смотрели, как, обхватив одной рукой ранец, он вышел из класса. Но Тепляков был веселый балагур, не лазивший за словом в карман и устраивавший "кордебалеты" - так он почему-то называл меткое передразнивание учителей. Его любили. Слегка побледнев, он поставил ранец на парту и стал швырять в него книги и тетради. Набросив ранец на одно плечо, он пошел к выходу и в последнюю минуту не удержался: сделал сам себе нечто вроде "безнравственного" жеста, весело спросил: "Да кто же этого не знает?" - и скрылся за дверью.

5

Так первый класс медленно проходил перед моими глазами.

Кирпичников Вячеслав.

Мартынов Андрей.

Чугай Эдуард.

Спасоклинский Павел.

Алмазов Борис.

Одни проходили мимо меня не останавливаясь, а другие - как бы стараясь разгадать вместе со мной то, что в отрочестве осталось непонятым или небрежно отстраненным.

С Борькой Алмазовым мы однажды собрались в кинематограф "Модерн", и он пошел к отцу просить пять копеек - отец держал трактир в Петровском посаде. Потеряв терпение (я ждал Борьку на улице), я заглянул в трактир: половые в длинных грязных передниках, носившиеся между столами, пьяные крики, сизый воздух, острый запах дыма и постного масла ошеломили меня. На высоком стуле за прилавком сидел жирный, потный бородатый

мужик с аккуратно расчесанной бородой. Опустив голову, Борька стоял в двух шагах от него. Это было так не похоже на уклад нашей семьи, что я не сразу понял, что Борька не смеет попросить у отца пять копеек. Он должен был стоять и ждать, не говоря ни слова. Наконец трактирщик шваркнул на прилавок пятак, Борька прошептал: "Спасибо, папенька"- и выскочил вслед за мной из трактира.

Не помню, что мы смотрели,- кстати, гимназистам вскоре запретили ходить в кинематограф. Сперва была женщина-змея и куплеты, а потом какая-то драма. У меня из головы не выходил Борька, как будто стиснутый шумом и вонью трактира. Он сидел рядом со мной и не казался униженным или расстроенным. Неужели он уже забыл о том, как он стоял перед отцом, опустив голову, и молча ждал, пока тот швырнет пятак на прилавок?

Мне стало неинтересно с Борькой. Мы больше не ходили в кино.

Альфред Гирв, сын кузнеца, был одним из моих любимых товарищей. Прямодушный, немногословный, с румяным квадратным лицом и вьющимися светлыми волосами, он не любил отвлеченностей, мир был для него однозначен, а жизнь состояла из ритмически мерного марша, ведущего прямо к намеченной цели.

Я помню, как однажды, подражая старшим, мы вдвоем выпили бутылку красного вина и решили, что "напились до положения риз",- конечно, это было уже не в первом классе. Неизвестно, что значило "положение риз", но, если уж мы напились, очевидно, надо было шататься, хохотать, нести околесицу, петь и т. д. Мы закурили - это было противно - и отправились в пустынный Ботанический сад; на улице можно было нарезать на учителя или надзирателя. Алька Гирв видел, что я притворяюсь, но терпел, хотя мне показалось, что он уже начинает сердиться.

Мы немного прошли по верхней аллее, а потом спустились в овраг, в глубину сада, где лежала плита, на которой было написано, что этот сад основал директор Сергиевского реального училища Раевский. Я полез на плиту и, сделав два-три шага, упал, как и полагалось человеку, напившемуся "до положения риз". Алька обошел плиту твердым шагом, как на сокольской гимнастике, которой нас учил недавно появившийся в гимназии чех Коварж.

- Послушай, а может быть, хватит ломаться?- спросил он.

Не отвечая, я перешел на "Крамбамбули":

Когда мне изменяет дева,

О том я вовсе не грущу.

В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пушу.
Когда мы пьем крамбамбули...
Крамбамбули, крамбамбули...
- Шут,- сказал Алька.

Я кинулся на него, но он закрутил мне руки за спину - он был вдвое сильнее меня. Мы подрались, а потом пошли мирно учить латынь; в третьей четверти Борода еще не опрашивал ни его, ни меня.

6

Зима состояла из повторяющихся дней и недель, и в течение учебного года класс почти не менялся. Но после каникул годовые часы, которыми измерялось время, как бы останавливались, и в первые осенние дни мы невольно находили заметные перемены друг в друге. У всех по-разному менялись голоса, выражение глаз, походка, движения. Неуловимые внутренние перемены возникали, скользили, скрывались, вновь возникали. К жизненному опыту летних каникул незаметно присоединялся весь опыт минувшего года.

Появлялись новички, но класс уменьшался. Переходили в недавно открывшееся коммерческое училище, переезжали в другие города. Я помню поразившую меня смерть Павлика Завадского, хорошенького, беленького, тихого, с голубыми глазами. На первой переключке после утренней молитвы никто не отозвался, когда классный наставник назвал его фамилию. Я дружил с ним. После уроков я пошел к Завадским на Запсковье, и сестра Павлика, похожая на него, с удивившим и оскорбившим меня равнодушием сказала, что Павлик в три дня умер от какой-то неизвестной болезни.

7

Похвальный лист, с которым я перешел во второй класс, к сожалению, не сохранился. Это была награда второй степени. Но первая отличалась от второй только тем, что кроме похвального листа давали "Князя Серебряного", которого я давно уже прочитал. В том году было трехсотлетие дома Романовых. На улицах жгли плошки со смолой, и похвальный лист был украшен

сценами из истории этого дома. В одном углу красивый бородатый Минин обращался к народу, а рядом в панцире и шлеме стоял Пожарский, опершись о меч; в другом - молоденького, хорошенького Михаила Романова венчали на царство. Все цари были румяные, красивые, с добрыми лицами, и все ездили умирать в какую-то "Бозу". Об этом я узнал из учебника: почти под каждым портретом было написано: "Почил в Бозе" тогда-то. Церковнославянское "в Бозе", которую я долго считал каким-то священным городом на юге России, значило: "в Боге".

С этим великолепным листом, свернутым в толстую трубку, я вернулся домой и на дворе немного побросал его в воздух, чтобы доказать Борьке Петунину и другим ребятам, что нисколько не дорожу наградой и что мне вообще на нее наплевать. Но я бросал осторожно.

Дома никого не было, только отец. Я развернул перед ним похвальный лист, и он сказал, что отвезет его в Петербург показать деду и бабке. Я снисходительно согласился. Вообще, хотя я как бы презирал награду второй степени, все-таки это было приятно, что я ее получил, тем более что по арифметике мне с трудом удалось вытянуть на четверку. Пятерок совсем не было. Но это не имело значения, для награды второй степени нужно было только не нахватать троек. Потом я показал похвальный лист няньке, и она всплакнула, но неизвестно, от умиления или потому, что в последнее время стала здорово выпивать. Потом я положил лист на окно и стал читать "Вокруг света". Но время от времени я посматривал на него.

Все-таки это было здорово, что я его получил и что он такой раскрашенный, с царями! Возможно, что, вернувшись из Петербурга, отец закажет для него рамку, и он будет висеть между портретами родителей в столовой. На одном из этих портретов, несомненно, был изображен отец -стоило только посмотреть на его прекрасные черные усы и грудь, украшенную медалями, а про другой отец говорил, что художник сжульничал, взяв портрет императрицы Александры Федоровны и пририсовав серьги в ушах и высокий кружевной воротничок, который носила мама.

Нянька принесла мне стакан козьего молока и кусок хлеба. Мать считала, что коровье молоко не так полезно, как козье, потому что в нем чего-то не хватает, и мы купили козу Машку.

...В Пушкинском театре будет детский бал, и девочки в коротеньких легких платьях, с большими бантами над распущенными волосами будут посматривать на меня с интересом, потому что все, понятно, узнают, что я перешел с

наградой. Будет жарко и весело, оркестр будет греметь с балкона, и, может быть, как в прошлом году, я увижу Марину Барсукову, и теперь я уже не буду стоять, весь потный и красный, и молчать, когда она вежливо заговорит со мной и когда, мелькая беленьким платьем и легко перебирая ножками, станет весело танцевать с этим толстым кадетом. Я буду отвечать ей свободно и, когда с балкона загремит вальс, стану перед ней вот так, слегка склонив голову, и это будет означать: "Позвольте пригласить вас на вальс". Кадет тоже подойдет, но она ответит ему: "Извините, я занята". И я положу руку на ее талию и поведу ее ловко, никого не толкая, плечи назад, держа голову прямо, и только один разочек украдкой взгляну на ее тоненькие, быстро перебирающие ножки.

Пришел Саша, я показал ему похвальный лист, но он только сказал равнодушно: "Ишь ты!" - и скрылся в своем чулане. Мама отвела ему чулан под лестницей, потому что он увлекся химией, и в доме стало невозможно дышать. У него было три двойки "в году" - по алгебре, геометрии и по немецкому. Немецкий он знал, но Елена Карловна разозлилась, когда он объяснился ей в любви и сделал в записке три грамматические ошибки.

Я посмотрел на подоконник: похвального листа не было хотя не прошло и пяти минут, как я показывал его Саше. Окно было открыто,- может быть, он скатился на землю? Я выбежал на двор - нет. Вернулся, спросил няньку, не взяла ли она,- нет. Еще раз внимательно посмотрел на подоконник - может быть, я его не вижу? Через четверть часа весь дом искал мой похвальный лист. Отца разбудили, он вышел, заспанный, в брюках со штрипками, с растрепанными усами. Нянька ругалась.

Увы, мы нашли его у Машки, за сараем! Но его уже нельзя было везти в Петербург, потому что коза сжевала большинство царей, не пощадив даже "ныне благополучно царствующего", как было написано в учебнике русской истории. По-видимому, она завтракала с большим аппетитом, потому что возмущенно затрясла бородой и даже попыталась меня боднуть, когда я вытащил у нее изо рта венчание Михаила на царство. Правда, Минин и Пожарский остались, и при некотором упорстве можно было разобрать, что с наградой перешел именно я. Но подписи директора и классного наставника были съедены без остатка.

Отец, который был огорчен еще больше, чем я, сказал, что никому не нужно рассказывать об этой истории, потому что похвальный лист в честь дома Романовых съела коза, а это можно даже принять за оскорбительный намек по адресу царской фамилии.

За две недели я привык к скромному интерьеру Псковского архива с его полутораметровыми стенами, с его церковными сводами, с его черной громадной голландской печью, которая, добродушно встречая меня, как будто говорила:

- Садитесь, пожалуйста!

О сотрудиниках нечего и говорить. Они были так деятельно добры, так радовались моим маленьким открытиям, как будто не меньше, чем я, интересовались давно забытыми делами Псковской гимназии...

Когда мы перешли в третий класс, началась война - для меня она началась при странных обстоятельствах, о которых я еще расскажу.

Гимназия заметно изменилась за годы войны. В 1915 году из нее "выбыло 122 человека в связи с положением на позициях" - как указывалось в протоколе. Сокольские упражнения были заменены военным строем. В здании гимназии разместился Главный штаб Северного фронта под командованием генерала А. Н. Куропаткина - старшекласники занимались теперь в старом здании, а мы - во вторую очередь - в Мариинской женской гимназии.

В конце мая 1916 года на плацу возле Поганкиных палат состоялся смотр, после которого выступили директор гимназии А. Г. Готалов и генерал Куропаткин, "весьма высоко оценивший результаты испытаний".

Трудно сказать, было ли связано положение на фронте с открытием школьного огорода средних учебных заведений, - очевидно, до войны это событие произошло бы в более скромной обстановке.

На открытии огорода присутствовала е. и. в. великая княгиня Мария Павловна. Собственный оркестр гимназии исполнил государственный гимн, и директор выступил с речью, в которой указал на важность новшества во всех отношениях.

Я должен сознаться, что не помню ни военного смотра на плацу у Поганкиных палат, ни торжественного открытия огорода.

Первые военные годы почти исчезли из моей памяти, осталось лишь неясное впечатление, что, вопреки внешней подтянутости, все стало постепенно расшатываться в гимназии: иные из моих одноклассников стали, например, приходить на уроки в высоких сапогах - представить это год тому назад было невозможно.

Мне не удалось найти в протоколах педагогического совета упоминания о падении со стены портрета царя, хотя специальная

комиссия, под председательством инспектора, занималась этим вопросом.

Говорили, что преподаватель Лаптев настаивал на политической причине этой истории. Всеволод Викторович (или Гуталиныч, как называли его гимназисты) был среди преподавателей единственным членом Союза русского народа.

Причина заключалась в неожиданно развернувшейся и охватившей всю гимназию драке, во время которой кое-где вылетели окна, и нет ничего удивительного в том, что со стены сорвался портрет царя, висевший, должно быть, на прогнившей веревке.

Но расскажу по порядку.

Хаким Таканаев держал со мной пари, что он пройдет за Эмоцией по всему коридору с папиросой в зубах, пуская дым за пазуху, чтобы было не так заметно. И он бы прошел, если бы Гришка Панков не дал ему подножку. Эмоция обернулся, побагровел, и Хаким попал в конduit. Это было плохо: за него в гимназию платил дядя, а об отце, который служил официантом у дяди, Хаким говорил кратко: "Зверь".

На перемене я подошел к Панкову и сказал, что он - подлец. Он стал оправдываться, но я доказал, что он все-таки подлец. Он замахнулся, но не ударил, а только сказал: "Коньками". Это означало, что мы будем драться коньками.

Панков был маленький, горбоносый, желтый. В хрестоматии "Отблески" была картинка: "Утро стрелецкой казни", и мне казалось, что, если бы он жил тогда, он был бы одним из этих стрельцов с бешеными глазами. Стрельцы были связаны, и, когда я смотрел на Панкова, мне тоже всегда хотелось его связать.

Но как дерутся коньками? Я пошел к Альке Гирву, но и он не знал. Мы подумали и решили, что Панков так сказал потому, что в прошлом году коньками чуть не убили кадета.

Мы условились встретиться за катком, и я замерз, дожидаясь Панкова. Мне было все видно из темноты, я слышал, как одна гимназистка умоляла мать не ждать ее у входа на каток, потому что над ней смеются подруги. Гимназистка была дородная, краснощекая и все распахивалась - ей было жарко, а мама - маленькая, сухонькая и завернутая, как кукла.

Я прождал Панкова час, но он не пришел. Это было поразительно, потому что хотя он был подлец, но смелый. Из нашего класса он один бросался в Великую с мола вниз головой. Испугаться, уклониться от драки - это было на него не похоже!

На другой день в гимназию пришла его мать, и я удивился, что она такая красивая - в пуховом платке, с большим благородным лицом. Панков, оказывается, пропал, и она боялась,

что он сбежал на войну. Инспектор Емоция, с которым она говорила, объяснил, что, согласно положению о казенных гимназиях, учащийся не может сбежать на войну без разрешения начальства.

О Гришке поговорили и перестали: весь класс увлекся сокольством. В гимнастическом зале, в новом здании, под граммофон делали гимнастику старшеклассники в синих рубашках и синих в обтяжку штанах. Нас учили упражнениям с палками и булавами. Руководил нами Коварж, о котором говорили, что он - австрийский офицер, перебежавший к нам "во имя идеи панславизма", и то, что этот плотный, мускулистый человек с большими черными усами рисковал собой ради идеи, тоже было интересно.

Придя к нам однажды в парадной форме - накидка на одно плечо, шнуры, как на венгерке, шапочка с пером,- он вместо гимнастики стал учить нас сокольской песне:

Гей, сокола, собирайтесь в ряды,

Крепкие мышцы не знают беды...

Словом, произошло так много, что забыли и думать о Гришке, И вдруг на уроке истории дверь распахнулась, вошел директор, а за ним Гришка -веселый, загорелый, желто-румяный, в солдатской гимнастерке, с георгиевским крестом на груди.

Все обомлели, и директор сказал речь. Он сказал, что перед нами -маленький герой, показавший незаурядное мужество на позициях, и он, директор, надеется, что теперь Гришка покажет такое же мужество в борьбе против геометрии и латыни. Что касается нас, то мы теперь должны вести себя как можно лучше, поскольку среди нас находится маленький герой.

Вся гимназия заговорила об этой истории, и наш третий "б" сразу прославился. Меня даже остановил восьмиклассник Парчевский, в заказной фуражке с маленьким серебряным гербом, надушенный, с усами (о нем ходили сплетни, что он живет за счет дам), и спросил - правда ли это? Было неприятно, что приходилось как бы гордиться Панковым, но я все-таки ответил небрежно: "Конечно. И что же?" Но прошло два месяца или три, и мы перестали гордиться Гришкой Панковым.

У нас был довольно буйный класс, и прежде Гришку уважали за то, например, что он мог выстрелить в немку из стеклянной трубки катышком замазки. Теперь это стало безопасным: в крайнем случае немка оставила бы его на час после урока.

Мы любили изводить географа Островского, который легко раздражался, но никого не в силах был наказать. А теперь перестали, потому что Емоция, немедленно являвшийся на шум, лебезил перед Гришкой. Гришка всегда начинал "бенефис" - так

называлось у него хлопанье партами, кукареканье и бляение.

Он ходил, заложив руки в карманы, и врал: на новых похвальных листах в одном углу будет он, а в другом - казак Кузьма Крючков, уложивший одиннадцать немцев; царь на днях приедет в Псков и от губернатора махнет прямо к Панковым - специально чтобы пожать Гришке руку. Панковы жили в покосившемся, старом доме на набережной, из которого, переругиваясь с рыбаками, выходили на берег полоскать белье девки с румяными смелыми лицами.

Он нам надоел в конце концов, и однажды, когда он стал ругаться при Ване Климове, который не выносил ругательств и стоял весь белый, со стиснутыми зубами, я подошел к Панкову и сказал:

- Ну что, испугался тогда прийти на каток?

Он сразу кинулся на меня и ловко ударил маленьким, крепким, как железо, кулачком в зубы. Это было в длинном коридоре со столбами освещенной пыли, с неподвижной фигурой Остолопова, стоявшего, как всегда, расставив ноги, заложив руки за спину, под портретом царя. Сперва было не заметно, что мы деремся, тем более что Алька сразу властно раскинул руки, чтобы нам никто не мешал. Панков был ниже меня, но сильнее. Мы упали, но на полу мне как-то удалось отодрать его от себя.

Еще недавно брат Саша практически доказывал мне, что в драке замахиваться нельзя, потому что происходит огромная потеря времени, которой может воспользоваться противник. И когда мы вскочили, была подходящая минута, чтобы вспомнить этот совет. Но я не вспомнил. Панков снова ткнул меня в зубы, и так больно, что я не то что заплакал, а как-то взвыл от бешенства и боли.

Не знаю, как это произошло, но дрались теперь уже не только мы, потому что вдруг я увидел на полу Ваню Климова, который болезненно вздрагивал, стараясь закрыть голову руками. Взмолвленное лицо Остолопова мелькнуло, но - куда там! Его миготом оттерли. И вся дерущаяся, кричащая толпа гимназистов двинулась по коридору. Классные надзиратели бежали вниз по лестнице, Емоция вышел из учительской и с изумлением остановился в дверях. Кончилась большая перемена, прозвенел звонок, но никто не обратил на него внимания. Баба, торговавшая булочками у шинельной, испуганно схватила корзину, но кто-то поддал корзину ногой, и булочки разлетелись по коридору.

Это была не та исконная драка между Запсковьем и Завеличьем, когда за медные монеты, зажатые в рукавицы, избивали до полусмерти. И не дуэльная, скрытая, где, окруженные толпой, противники сводили счеты где-нибудь в

дальнем уголке двора, чтобы не увидели педагоги. Это было слепое, но естественное освобождение от всего, что было заранее обречено на строгое наказание. Кто-то запустил ранцем в окно, стекла посыпались, от разбойничьего свиста зазвенело в ушах.

Я потерял Панкова, потом снова нашел. "Берегись, кастет!" - закричал кто-то, и я понял, что кастет - это сверкнувшие металлические язычки, торчавшие из кулака Панкова. Он отскочил, ударил, и, когда я падал, мне показалось, что вместе со мной шатается и падает все - Остолопов, продиравшийся сквозь толпу с растрепанной бородкой и широко открытыми глазами, косые столбы пыли и - это было особенно странно - портрет царя, вдруг криво отвалившийся от стены на длинной веревке...

Я очнулся на полу в уборной. Алька брызгал мне в лицо холодной водой. Долго потом ходил я с маленьким синим шрамом на лбу.

9

В четвертом классе, прислушиваясь к разговорам наших гостей, я мысленно разделил класс пополам. Будущая революция смело могла рассчитывать на Арнольда Гордина, Гирва, Рутенберга, который - это выяснилось в 1917 году - был сыном известного эсера, братьев Матвеевых и меня. Напротив, монархический строй поддерживали - сознательно или бессознательно - Сафьянщиков, сын богатого купца, всегда как будто объевшийся, бледный и рыхлый, барон фон дер Беллен и маленький чистенький доносчик Чугай. Но были и противоречия. Отец братьев Матвеевых, неразличимых близнецов, сдававших экзамены друг за друга, был приставом, заметным полицейским чином.

И как поступил бы Андрей Мартынов, умный, начитанный, ничуть не гордившийся тем, что он свободно говорит по-французски, красивый, незастенчивый, с благородным, лицом? Он был из дворянской семьи.

О, как мне хотелось, чтобы он присоединился к нам! И как хотелось хоть немного походить на него! Он как бы не участвовал в этом воображаемом разделении. Но мимо него, казалось, проходил и тот бесспорный факт, что мы, в сущности, не разделены, а объединены потому что являемся гимназистами, молодыми подданными Российской империи, одетыми в надлежащую форму, соблюдавшими надлежащие правила и возрастающими "нашему создателю во славу, родителям нашим

во утешение, церкви и отечеству на пользу", как говорилось в утренней молитве.

В 1915 году в наш класс были переведены поляки-беженцы из Варшавской гимназии. "Беженцы" было новое, казавшееся странным слово. Все хотелось сказать - беглецы. И наши поляки были именно беглецами. Грустные, озирающиеся, как будто чувствующие, что они все еще куда-то бегут; они жили в преднамеренной пустоте, которая не только нравилась им, но, по-видимому, казалась естественной и необходимой. Ни с кем не ссорясь, они ни с кем не дружили. Они хорошо учились. Длинный вежливый бледный Пенкальский отвечал на вопрос, который преподаватель задавал всему классу, не вскидывая радостно руку, а робко поднимая два длинных пальца, похожих на церковные свечи. Они ничем не отличались от нас, кроме того, что были поляками,- но именно это и удивляло меня. В классе учились русские, татары, евреи, эстонцы, латыши. На Хакиме Таканаеве учитель истории Константин Семенович Шварсалон показывал "разделение человечества на расы". Коричневый красивый Хаким с угольно-черными прямыми волосами, с твердыми, выступавшими скулами принадлежал, оказывается, к большой монгольской расе. Мы сразу же стали завидовать ему, тем более что Хаким утверждал, что его дядя - прямой потомок того самого Акбулата, о котором написал Лермонтов:

Старайся быть суров и мрачен,

Забудь о жалости пустой:

На грозный подвиг ты назначен

Законом, клятвой и судьбой.

Но поляки не стали бы завидовать Хакиму. Они были всецело поглощены сознанием, что они - поляки. Для них это было не только важно, но как бы определяло главный смысл существования.

- Быть поляком или умереть,- однажды сказал о них Алька Гирв, который был православным эстонцем.

Они были вежливыми мальчиками, одевавшимися строго по форме. На переменах они степенно прохаживались. Они прекрасно знали латынь, и Борода ставил их нам в пример на каждом уроке. Но они не имели права отличаться от нас только потому, что родились в Польше, от польских родителей, и приехали из Варшавы! Тогда и Хаким, и Андрей Мартынов, и

лохматый, добрый, неряшливый, зачитавшийся Женя Рутенберг, каждый из нас имел это право?

Вспоминать - необыкновенно интересное занятие, и, расставшись с Николаем Николаевичем, который из деликатности не признался, что его утомил наш длинный разговор, я лег в постель - и не уснул.

Точно что-то ожило, затрепетало во мне - и клубок воспоминаний стал разматываться свободно, легко, будто он наконец дождался своего часа. На другой день нам с Николаем Николаевичем предстояла прогулка по городу - и я вообразил эту прогулку, но не в 1970 году...

Холодно, зима, снег похрустывает и искрится под ногами. Двенадцатилетний гимназист, подняв воротник шинели, идет вдоль Привокзальной, мимо заборов и маленьких домиков служащих железной дороги. Справа - одинаковые двухэтажные казармы Иркутского полка, длинные здания полкового склада. За складом - пустырь, с которого Сергей Исаевич Уточкин в 1912 году совершал полеты. Не знаю, почему я не был на этих полетах, о которых говорил весь город. Но мне помнится жаркий день, наш садик во дворе. Круглая тень яблони лежит у моих ног и становится все короче... Я читаю "Дворянское гнездо", букашка ползет вдоль страницы, на которой Лиза в белом платье, со свечой в руке идет по комнатам темного дома, не зная, что в саду ее ждет Лаврецкий. И вдруг в это оцепенение, в расплавленность летнего дня врывается переполох, смятение, суматоха.

- Летит, летит! - кричали со всех сторон. Нянька выбежала с черного хода с ведром, в подоткнутой юбке, и замерла, подняв голову и крестясь. Все остановилось. Только что неоткуда было ждать чудес, только что по Гоголевской битюг протащил тяжело нагруженную телегу. Только что все было неразрывно связано, приковано друг к другу.

Все перемешалось. Тяжелая громада, состоявшая из двух плоскостей, пересекавших длинный ящик, похожий на гроб, выплыла откуда-то со стороны вокзала и, шумно работая, направилась к самому высокому в Пскове семизэтажному дому. Она двигалась степенно, не торопясь и как бы не обращая внимания на расступившееся перед ней небо. Она была похожа на взлетевший геометрический чертеж, но чем-то и на протащившуюся мимо дома телегу - может быть, колесами,

висящими под ней как-то нелепо и праздно.

...Двенадцатилетний гимназист идет по городу, подняв воротник шинели. Холодно, воротник легонько трет замерзшие уши. Это приятно, но время от времени все же приходится снимать перчатки и мять уши руками. Шарфа нет, отец приучил сыновей ходить по-военному, без шарфа. Гимназист идет и думает. О чем? Не все ли равно?

Городская тюрьма, большое грязное здание за высоким забором. У ворот - полосатая будка. Усатый часовой выглянул из нее и сказал барышне, стоявшей на панели: "Проходите, сударыня". Но она не ушла. Начальник этой тюрьмы - полковник Чернелиовский. Говорят, что это не тюрьма, а "каторжный централ". Что такое централ? Почему каторжный? Ведь каторга - в Сибири?

...Двенадцатилетний гимназист идет по городу и трет, трет застывшие уши. Как бы не отморозить! Павлик Спасоклинский пришел в гимназию с отмороженными ушами, к большой перемене они у него стали огромные, розово-красные. Он смеялся, болтал головой и говорил, что не больно, но классный наставник Бекаревич сказал, что уши могут отвалиться, и отправил Павлика домой.

...Это было поразительно, что, когда у Павлика умерла мать и он, громко плача, убежал из дома, Столяров и Юпашевский дразнили его. Стало быть, им казалось, что стыдно плакать, даже если умирает мать?

...Синеет, голубеет. Снег поблескивает под ногами, синий, вечерний, голубой.

...Кто такие эсеры? В прошлом году вот здесь, возле тюрьмы, эсер Фалевич застрелил жандармского полковника Бородулина.

Потом я узнал, что наша домохозяйка Бабаева - родная сестра Фалевича. Она была лет на двадцать моложе своего мужа, но тоже уже седая, с гладко зачесанными поблескивающими волосами, и всегда такая же неестественно красная, как ее муж. Может быть, они пили? "Это был ужас",- все повторяла она. Меня поразило, что, рассказывая о брате, она улыбалась. Стало быть, прошедшее, даже самое страшное, чем-то приятно? Чем? Тем, что оно отлетело, миновалось, ушло? Тем, что сестре Фалевича больше никогда не придется бежать ночью по городу, не помня себя, оставив дома лежавшую в обмороке мать? Тем, что не повторится грубый окрик городского, больно толкнувшего ее в грудь, когда, сама не зная зачем, она хотела пробраться к месту убийства?

...Дом предводителя дворянства на Кохановском бульваре: у дворянства был свой предводитель, как у дикарей в романах

Густава Эмара...

...Вот и Летний сад и домик цветовода Гуляева, а налево - Застенная, вдоль запорошенной снегом, озябшей крепостной стены. Летом здесь все по-другому: у входа - толпа, в кассе покупают билеты, на круглых будках - афиши, приезжий драматический театр дает спектакли. У Гуляева покупают цветы, чтобы бросать их на сцену, под ноги артистов, сторожа ловят мальчишек, которые перелезают через невысокую обветшалую стену.

...На Сергиевской замерзший гимназист останавливается перед бревенчатым срубом. Сруб - розовый, облупившийся, по-деревенски маленький, покрытый зеленой железной крышей. Это - дом Назимова. Между окон - доска: "Здесь временно проживал А. С. Пушкин".

...Кадетский корпус на той стороне, за толстой красивой железной решеткой. Говорят, что в честь императора Николая Первого он перестроен в форме буквы Н. В этом мог убедиться Уточкин, если у него было время, чтобы взглянуть на кадетский корпус, когда он пролетал над ним. Два длинных параллельных здания соединены третьим, коротким - это черточка в букве Н. Всегда свежееокрашенная сторожевая будка у ворот означала римскую цифру I.

Я любил смотреть, как на плацу маршируют кадеты. Фельдфебель командовал хрипло, самозабвенно, колонна шла, отбивая шаг, и когда раздавалось протяжное: "Кру-у..." - все еще шла, хотя вот-вот должна была с размаху врезаться в решетку... "Том!" - радостно кричал фельдфебель, и, строго держа равнение, колонна делала полный поворот.

...В стройной красной кирпичной кирхе на Сергиевской зажигается свет, начинается служба. Я был в кирхе несколько раз, и мне понравилось лютеранское богослужение. Молиться можно было сидя за партами: пастор одевался скромно, во всем была простота, с которой странно не связывалась музыка органа. Мне казалось, что эта торжественная музыка и была богом, которому молились лютеране.

...Люся из магазина "Эврика" перебежала дорогу - и в булочную, кокетливо запахнув жакетку! Сейчас выйдет с парой горячих саек для хозяина, про которого говорили, что он "ни одной не пропустит". Не совсем было ясно, что значит "не пропустит" и вообще как он мог "пропустить", например, Люсю, если она работает в его магазине? Впрочем, я догадывался, что это значит.

...Магазины закрываются.

На витрине - китайские вазы и фарфоровый кот: чаеоторговля

Петунина и Перлова.

Серебряная посуда, солонки, ложки, ножи. Магазин Сигаева, в котором восьмиклассники заказывают выпускные жетоны.

Колбасная Дайбер.

Булочная Шоффа.

Магазин "Любая вещь-двадцать копеек".

Вольфрам - писчебумажные принадлежности, учебники, книги.

...Гимназист идет по Великолуцкой, и все преобразается вокруг него, медленно, но неизбежно.

Только что высокая гимназистка буквами МЖГ - Мариинская женская гимназия - на форменном берете прошла мимо него. Улыбнулась, спросила: "Холодно?" - и сразу же свернула на Сергиевскую, стройная, в осеннем пальто, с заиндевевшей прядью волос, волшебным образом вышедшая из-под берета. Снег поскрипывает, поблескивает, вьется. Почему она улыбнулась ему? Снег вьется, в снегу вспыхивают и гаснут синие металлические искры. Извозчики сидят на козлах маленьких санок, звонко хлопая рукавицами, чтобы согреться. Вперед-назад, вперед-назад.

Он - на Ольгинском мосту, внизу белеет Великая, морозная темнота спускается с неба, звезда падает, прежде чем он успевает загадать желание. Спросила: "Холодно?" - и пропала, точно растаяла в молочном свете газовых фонарей...

Впервые я влюбился в хорошенькую Марусю Израилит, ту самую, из-за которой я провалился в приготовительный класс. Почему-то мне всегда хотелось выкинуть что-нибудь, когда я видел Марусю, хоть покривляться, и я завидовал брату Саше, который мог пройти на руках, а однажды, показывая "солнце", грохнулся прямо с трапеции к ее ногам и вывихнул руку.

Было совершенно очевидно, что если нет никакой надежды на взаимность, надо покончить с собой. Но, с другой стороны, мне хотелось устроить так, чтобы я и покончил самоубийством и остался жив, потому что мне было интересно, как подействует на Марусю мой решительный шаг. Поэтому я не стал скрывать своего намерения от брата Саши и решил повеситься в его присутствии, чтобы, в случае необходимости, он мне как-нибудь помешал. Нельзя сказать, что Саша отнесся к моему намерению равнодушно. С большим интересом он наблюдал, как я прилаживаю веревку к задвижке на русской печке, и, сунув свой острый нос, немного поправил петлю. "Этак еще оборвешься, пожалуй", - сказал он. Ему было интересно, как он объяснил впоследствии, как далеко я зайду в своем намерении, или, иными словами, достаточно ли у меня сильная воля.

Я поставил к печке табурет, влез на него и, дрожа, надел петлю на шею. Все это делал уже как бы не я, а кто-то другой, решивший доказать, что все должно произойти так, как он задумал, даже если это было страшно и трудно. Саша смотрел на меня, поджав губы, с вниманием натуралиста, впервые встретившего в природе любопытное, еще никем не описанное явление. Я толкнул ногой табурет - и, без сомнения, не писал бы сейчас эти воспоминания, если бы в кухню не вошел с улицы денщик отца Василий Помазкин. Они оба закричали, Саша - что-то насчет развития воли. Василий подхватил меня и осторожно вынул из петли. Сашу он слегка двинул по затылку, решив, что это - его затея...

В теплый августовский вечер я ждал Марину Барсукову на той стороне Великой, подле часовни св. Ольги, не зная, как мне держаться с такой умной девочкой и о чем разговаривать, прежде чем я начну ее целовать. Может быть, упомянуть как бы нечаянно, что я посвятил ей стихотворение, начинавшееся:

Да, чернокудрая, ты властна и сильна,

Хранишь отмстительной рукою

Младую честь... Кому ж ты суждена

Пожертвовать девическим покоем?

Или встретить ее сдержанно, тем более что она уже опоздала на пятнадцать минут?

Марина была пряменькая, в пенсне, не очень хорошенькая, но уверенная, что очень. Она свободно говорила по-французски и держалась немного загадочно, как бы давая понять, что знает многое, о чем я не имею никакого понятия.

Вообще она мне не нравилась, так что было не совсем ясно, почему мы назначили друг другу свидание. Но в сравнении с привлекательностью и соблазнительностью самого свидания не имело почти никакого значения, что Марина не нравилась мне или что я не очень нравился ей.

Она была дочкой директора и владельца новой женской прогимназии, помещавшейся недалеко от часовни. Одно из окон было открыто, женский голос пел романс Чайковского. Я нетерпеливо шагал вдоль берега. "Еще пять минут -и уйду". Но прошли эти пять минут, и я назначил себе еще десять.

Мягкие тени скользили по Великой, растворяясь в подступающих сумерках. За Ольгинским мостом неподвижно стояли темные лодки рыбаков. Длинное удище вдруг вырезалось, описывая полукруг, и наживка с легким плеском падала в воду. На той стороне, в городе, неторопливо, уютно зажигались огни. Должно быть, в романсах Чайковского, которые пел незнакомый приятный голос, были и эти лодки, и розовые сумерки, и тени, скользившие по воде. Но мне, разумеется, и в голову не приходило, как необыкновенно хорош этот вечер. Взмолванный, я шагал вдоль берега и сердился на Марину. И вдруг я понял, что поет она.

С Великой потянуло прохладой, я был в летней коломянковой рубашке, по спине пробежала легкая дрожь. В часовню зашла женщина, и перед образом св. Ольги мягко загорелась свеча.

Что делать? Подойти к окну и крикнуть: "Марина!?" Услышат родители. Хромой серьезный бородатый Барсуков, которого уважал весь город, спустится по лестнице и холодно опросит: "Что вам угодно?"

Марина спела "Средь шумного бала" -и очень недурно. Потом

"Мы сидели с тобой у заснувшей реки" - что обидно не соответствовало действительности.

У меня зуб не попадал на зуб, когда она пришла наконец - тоненькая, в черной мантилке, накинутой на узкие плечи. Надо было сказать что-нибудь умное, и я сказал, что у нее прекрасная дикция. Она с достоинством кивнула. Мне захотелось прибавить, что она кривляка, но я удержался. Потом я прочел ей свое стихотворение, и Марина, подумав, заметила, что, по ее мнению, мне совершенно не удалась вторая строфа:

На девственные плечи в сотый раз
Гляжу и мучусь мукой тайной,
Безумной мыслью, что в урочный час
Их тронул, может быть, счастливцев неслучайный.

Меня трясло от холода и волнения. Мы помолчали, потом все-таки стали целоваться, неумело прижимая к губам сжатые губы.

3

В годы моего отрочества я был влюблен почти всегда и уж без сомнения задолго до того, как стал догадываться об этом. Все приобретало особенный, благодарный интерес. Едва познакомившись с девочкой, которая нравилась мне, я уже испытывал чувство счастья.

Но в счастливом желании понравиться была и значительность, взволнованное ожидание встречи. Разговоры, кончавшиеся поцелуями, были для меня важнее даже чтения, без которого я, казалось, не мог бы существовать. Но ничего счастливого или значительного я не чувствовал, когда видел нянькину племянницу Зою. Она была веснушчатая, быстрая, рыжая. Отец у нее был поляк. Она жила в Лодзи, но часто приезжала в Псков к няньке, потому что в Лодзи, - хотя она ее очень хвалила - никто не хотел на ней жениться.

Просыпаясь, я сразу начинал прислушиваться к стуку ее быстрых шагов: она так и летала по дому. Вернувшись из Польши, она показывала свою разорванную фотографию. Какой-то кавалер снял ее, когда она купалась, потом стал показывать на свидании, и она отняла, но не всю фотографию, а только до талии. И кавалер сказал: "Не беда, главное осталось". Должно быть, это казалось Зое очень остроумным, потому что она все повторяла, смеясь: "Главное осталось". Я смотрел на нее, но не на всю сразу, а как-то отдельно - на полную грудь, ноги, на некрасивое живое

лицо с улыбающимися глазами, на рыжие, легко рассыпавшиеся волосы - и завидовал Саше, для которого очень просто было то, что казалось мне невообразимо сложным.

...Может быть, это было продолжение сна, но в то утро я проснулся с ощущением приговора. Я был приговорен - так мне снилось - к тому, что непременно должно было случиться в течение дня. Но одновременно я почему-то напряженно, страстно желал, чтобы этот приговор осуществился.

С этим-то необъяснимо грустным чувством я долго лежал в постели, прислушиваясь к быстрым шажкам Зои. Она служила теперь в аптеке Лурьи и не жила у нас, а только приходила, чтобы помочь няньке, которая стала сильно пить и хворать. Вот она побежала в столовую, на кухню, на лестницу черного хода. Я положил руку на сердце. Потом вскочил, оделся и с разгоревшимся лицом пошел к Зое.

Нянька кряхтела на лежанке, и ничего было нельзя, хотя Зоя, месившая тесто, только засмеялась, когда дрожащей рукой я поправил прядь ее волос, выбившуюся на слегка вспотевший лоб. На висках, тоже от пота, завились колечки.

- Жарко,- сказала она.

Верхняя кнопка на кофточке отстегнулась, и, когда Зоя месила, незагоревшая полоска груди открывалась и закрывалась.

- Идите, идите.

Она стала обтирать с пальцев тесто, потом поймала край кофточки губами и стала ждать, когда я уйду. Нянька лежала лицом к стене. Я взял Зою за плечи. Она шутливо замахнулась, потом сказала одними губами:

- Вечером, когда пойду застилать постели.

Со странным чувством, что все вокруг плывет и колеблется, как раскаленный воздух, я вышел на улицу. Мне казалось, что все смотрят на меня и нужно говорить и ходить как-то иначе, чем прежде. Вечером - это значило в восемь часов. Перед ужином Зоя застлала родителям постели.

Стараясь не думать и неотступно думая о том, что произойдет, когда Зоя пойдет стелить постель, я пошел на Великую и долго бродил по берегу, распахнув шинель. Мне было жарко, щеки горели. Мороз был небольшой, но с реки задувал ветер. У меня болел бок, и я вспомнил, что весной провалялся две недели с плевритом. Чуть заметная косая дорожка была проложена по Великой к Мирожскому монастырю, какие-то закутаные люди тащили санки с поклажей.

День был воскресный, и накануне я решил, что с утра засяду за алгебру. Четверть кончалась, и Остолопов, который еще не спрашивал меня, мог вызвать к доске в самые ближайшие дни. Но

эта мысль, так же как все, о чем я думал вчера, мигом канула куда-то, точно ее сдуло ветерком с Великой.

Я вернулся домой, пообедал и снова ушел. Было еще только три часа, но я почему-то торопился, и мне хотелось, чтобы все, что происходило на свете, происходило быстрее. Между тем все было совершенно таким же, как прежде, дома, улицы, люди. Молодой бородатый мужчина в тулупе встретился мне на Великолуцкой и широко улыбнулся. Это был Володя Гельдт, городской сумасшедший. Он был сын богача Гельдта. Он ходил улыбаясь, показывая прекрасные белые зубы, и вдруг его румяное лицо становилось озабоченным, грустным. Володя тоже был совершенно такой же, как прежде. Саша с Вовкой Геом фехтовали, когда я вернулся домой, - время от времени отец покупал полагавшуюся ему по форме новую шпагу, и нянька вместо кочегри мешала старой шпагой в печах. Я тоже пофехтовал.

Смеркалось, но времени было еще много, и я уселся один в нашей комнате, где через двор видны освещенные окна соседнего дома. Женский силуэт неторопливо прошел за одним окном, потом за другим, - тонкий, словно вырезанный из бумаги. Часы тикали под подушкой, и, должно быть, я не заметил, как лег на кровать, потому что теперь достал их лежа и старался рассмотреть в темноте. Половина восьмого. Теперь скоро.

Тик-так. Еще минута. Я встал и согнулся набок, как учил меня доктор Ребане. Да, болит. Не нужно было так долго, распахнув шинель, стоять на берегу Великой.

Что же я должен сказать, когда увижу ее, смелую, смеющуюся, страшную, все знающую и ничуть не стесняющуюся того, что должно произойти между нами? В спальне родителей? Ведь кто-нибудь может войти? Значит, все это должно случиться быстро? В пять минут? Или еще скорее?

Я зажег свет и достал с полки энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Лодзь, оказывается, была уездным городом Петраховской губернии. Пять шоссированных дорог соединяли ее с промышленными центрами Польши. Экономическое развитие Лодзи по своей быстроте напоминает, оказывается, Северо-Американские Штаты. Энциклопедия была горячая и почему-то рвалась из рук, так что мне пришлось положить на нее голову, чтобы она не убежала.

Саша вошел, когда я наваливал на нее гири, коньки, ботинки.

- Что с тобой?

Он взял меня за руку.

- Э, брат, да у тебя сорок.

Я сказал, что у меня не сорок, а двадцать одно и что умней Краевича не будешь. Пять дорог соединяют Лодзь с

промышленными центрами Польши, а Марина Мнишек ждет меня на углу. И с тяжелым плевритом меня уложили в постель.

Чувство приговоренности осталось у меня надолго - и после того, как я поправился и стал ходить в гимназию, и после того, как между Зоей и мной произошло то, к чему она относилась так беспечно, а я с волнением, перед которым был беспомощен и порывисто неуверен. Мы встретились в Соборном саду, отгороженном полуобвалившейся крепостной стеной от стрелки, где Пскова сливается с Великой.

Зоя пришла в старенькой жакетке с кокетливо подшитым воротником, но сейчас же сняла ее и положила под деревом.

- Изомнете.

И оказалось, что можно говорить о самых обыкновенных вещах, оставшихся такими же обыкновенными, несмотря на то что вдруг оборвалась лихорадочная поспешность, от которой я не находил себе места.

Зоя убежала, торопилась домой. Я взобрался на стену и стал смотреть на редкие огоньки, раскинувшиеся здесь и там на реке, - рыбаки с мережами выехали на ночь. Неужели так будет всегда?

Никто не помнит в наше время о спиритических сеансах, которые в предвоенное время устраивались почти в каждом доме. Известно было, например, что, когда в газете "Псковский голос" губернатор барон Медем был назван "баран Медем", в семействе вице-губернатора имя преступника (хотя газета извинилась за опечатку) пытались выяснить с помощью спиритического сеанса.

У нас тоже иногда устраивались такие сеансы. За небольшой деревянный стол садились четыре-пять человек, клали на него, касаясь пальцами, растопыренные руки, и стол начинал двигаться, подпрыгивать и стучать. Но считалось, что стучит не стол, а души умерших людей, которых кто-нибудь -обычно Лев, приехавший на каникулы,- вызывал с того света. Можно было, например, вызвать Александра Македонского: "Александр Македонский, ты здесь? Если да, постучи два раза". Стол поднимался и стучал ножкой два раза. К великим людям в таких случаях почему-то всегда обращались на "ты".

Многие считали, что это ерунда. Но я своими глазами видел, как одна актриса упала в обморок, когда с того света вызвали ее мужа. Лев спросил, способен ли он "материализоваться", то есть явиться к ней в один прекрасный день. Стол постучал "да", и она брякнулась, а потом ее еле привели в чувство.

Это называлось "столоверчение". Но устраивались еще спиритические сеансы с помощью листа бумаги, на котором вкруговую была написана азбука. Это было интереснее: души умерших отвечали уже не только "да" или "нет", а вели целые разговоры. Блюдечко с нарисованной стрелкой клали посередине азбуки, а потом садились за стол, соединив пальцы. Считалось, что души умерших разговаривали с живыми.

...Был жаркий, июльский, утомительный день. Я давно косолапил, ставил носки немного внутрь, и, по совету Льва, ходил, выворачивая ноги по возможности дальше, чем нормальные люди. Оказалось, что это трудно -главным образом потому, что при этом выворачивались ладонями наружу и руки. Но я ходил все утро, потом пообедал и снова стал ходить.

Когда я вернулся домой, у нас шел спиритический сеанс. В столовой сидели Лев, Лена, сестры Черненко, один вольноопределяющийся и Пулавский. Сестры были хорошенькие девушки, а Пулавский был медиум - так называется личность,

которую души умерших особенно уважают и даже предпочитают через нее обращаться к живым. Но живые как раз не особенно уважали Пулавского. Лев говорил, что он - дурак, и действительно, эта мысль иногда приходила в голову. Приехав в Псков, Пулавские оставили у нас свои вещи, а потом он метался по всем комнатам - высокий, грузный, с обвислыми ушами - и кричал: "Где мои рога?" Это было смешно, потому что у него была жена, которая ему изменяла. Весь дом, умирая от смеха, искал его рога, и наконец я нашел их в Сашином чулане. Конечно, это были не его рога, а олени, на которые в прихожих вешают шашки.

Поразительно, что все были как бы довольны, что ему изменяет жена. Лев и мужчины говорили об этом презрительно, а мама и сестра - с намеками, с загадочной, удовлетворенной улыбкой. И сама Пулавская - милая, бледная, воспитанная, прекрасно игравшая на рояле - тоже беспомощно улыбалась, точно от нее ничуть не зависело, что она изменяет мужу, и точно это была какая-то остроумная шутка.

Я жалел Пулавского, потому что все были против него. Но, по-видимому, он был действительно глуп, хотя бы потому, что утверждал, что с помощью спиритизма можно угадывать мысли на расстоянии. Тогда почему же он не мог, находясь в двух шагах от своей жены, разгадать ее мысли?

Он сердился, когда на спиритических сеансах начинали дурачиться. И в этот вечер тоже сердился и был похож на моржа. Оказалось, что вольноопределяющийся, который впервые был в нашей квартире, долго стеснялся спросить, где уборная. Сестры Черненко заметили это по его поведению, блюдечко со стрелкой стало быстро крутиться, и вышло: "По коридору первая дверь налево". Лев хохотал, а Пулавский надулся.

- Господа, позвольте мне уйти.

Никто не мешал ему, но он все-таки остался. У меня ныли ноги, и я сел на них, уютно устроившись в кресле. Только что начало смеркаться, а для душ умерших нужен полумрак, и Лев задернул портьеры. У нас еще недавно провели электричество, и свет угольной лампочки не освещал, а как бы слабо желтил стол с блюдечком, руки, касавшиеся пальцами, и склонившиеся лица.

Теперь все были очень серьезны, потому что Лев предложил вызвать душу предсказателя Мартына Задеки, чтобы узнать, скоро ли будет распущена Четвертая Государственная дума. Предсказатель умер, оказывается, двести лет тому назад, и вполне естественно, что он ответил: "Не понимаю вопроса". Потом Пулавский попытался вызвать своего покойного отца - коннозаводчика. Это сперва не удавалось. Блюдечко несло-всякую чушь, но потом душа все-таки, по-видимому, явилась, потому что

Пулавский побледнел и прошептал: "Чувствую приближение". Мне показалось, что все немного побледнели.

- Скажи, отец, будет ли война? - глухим голосом спросил Пулавский.

- Будет,- ответил коннозаводчик.

- Скоро?

- Да, очень скоро.

Потом снова пошла чушь, а потом Пулавский сказал:

- Укажи, отец, кому из нас суждено пасть первым.

Блюдечко как бы задумалось, потом стало медленно возвращаться и остановилось против одной из сестер Черненко. Но коннозаводчик не был уверен, что именно она должна пасть первой, потому что стрелка поползла дальше и указала на Льва. Однако Льву, по-видимому, тоже не хотелось умирать, потому что после некоторых колебаний блюдечко быстро завертелось и попробовало совсем выйти из круга.

Все это было, конечно, жульничество. Я не сомневался, что они просто смеются над Пулавским - и сестры Черненко, и Лев, и вольноопределяющийся, который отлучился ненадолго и вернулся веселый. Наконец стрелка остановилась против Пулавского, и он трагически прошептал: "Ну что ж, божья воля".

...Пора было спать, а я все сидел в кресле, глядя на них слипающимися глазами. Они снова заспорили о материализации и вызвали Петра Великого, чтобы с его помощью решить этот вопрос. Петр попытался было увернуться, но потом все-таки сообщил, что готов явиться одному из нас. Конечно, это тоже была выдумка Льва, потому что стрелка повертелась немного, а потом остановилась между сестрами, указав на тот темный угол, в котором я сидел, забившись в кресло с ногами.

- Странно,- фальшивым голосом сказал Лев,- он хочет явиться Вене.

Все посмотрели на меня. Я сильно покраснел и встал. Это уже было не просто жульничество, а свинство, потому что Лев прекрасно знал, что я боюсь темноты. И все-таки он сказал:

- Погасим свет.-И добавил:-Ты не боишься?

Я не просто боялся, а дрожал как осиновый лист, и мне хотелось со всех ног удрать из столовой. Но это было невозможно, и я удержал себя силой, заставил ноги стоять, а дрожащие губы небрежно выговорить:

- Конечно, нет.

Лев погасил свет, все вышли на цыпочках, и я остался один. Свет уличного фонаря стал виден не сразу, сперва где-то между портьерами. Было очень тихо, только газетчик прокричал на Гоголевской, под нашим балконом: "Экстренный выпуск!" Я стоял

помертвев и теперь уже наверное знал, что сейчас портьеры раздвинутся и встанет Петр - в ботфортах, огромный, в шляпе с загнутыми меховыми полями, с белым лицом, на котором страшно чернеют усы. Что-то звякнет, и он шагнет ко мне, глядя прямо перед собой невидящими глазами...

Все вернулись, зажгли свет и стали спрашивать меня - все-таки с беспокойством. Сестра что-то сердито сказала Льву. Он спросил: "Испугался?" Я нарочно хотел засмеяться, чтобы показать, что ничуть. Но дыхание прервалось, и, подойдя к Льву, я изо всех сил закатил ему оплеуху.

Это было все равно, как если бы я ударил самого господа бога. С искаженным от ужаса лицом бросился я из столовой и, не зная, куда спрятаться от Льва, который - так мне показалось - сейчас убьет меня, побежал я в переднюю.

Нянька открывала кому-то парадную дверь. Взволнованный отец Кюпар вошел со словами:

- Всеобщая мобилизация, господа. Мы предъявили Австрии ультиматум.

Отцу выдали походный сундучок, флягу, складную койку. На внутренней крышке сундучка за кожаными петлями торчали ложка, вилка с ножом и тарелка. Койка была хорошая, легкая, и мы с Сашей быстро научились собирать и разбирать ее, так что отец пошутил, что следовало бы взять нас с собою. Он все как-то побряхтывал, было видно, что ему не хочется на войну. Он мог остаться, потому что ему было больше пятидесяти лет, но тогда пришлось бы выйти в отставку, а он служил в армии всю жизнь и считал, что нет ничего лучше, чем военная служба.

- Армия, армия, армия - только! - говорил он.

Через два дня он стоял, махая палочкой, перед своей командой на Псковском вокзале. Бабы плакали, и в невообразимом шуме паровозных гудков, громахания колес, топота ног солдат, вбегающих по доскам в товарные вагоны, веселый марш Преображенского полка был почти не слышен. Солнце поблескивало на медных тарелках, которые часто и звонко ударялись одна о другую. Отец стремительно махал палочкой, и мне было неловко за него, точно он вместе со своей командой притворялся, что не замечает плачущих баб, растерянности, пыли над перроном, всего, что вдруг стало называться войной. В открытой коляске с лакированными пыльными крыльями приехал командир полка Дашкевич-Горбатский. У него тоже были усы, но не острые, как у отца, а как бы распространявшиеся по лицу. Все смотрели, как он ловко соскочил с коляски, подал руку жене, а потом с бравым видом подошел под благословение архиерея. Мне показалось, что и

архиерей благословил его как-то лихо. Оркестр умолк. Все снова стали прощаться. Бабы заплакали, закричали. Но эшелон стоял еще долго, часа полтора.

Отец подошел. Мне захотелось пить; он налил из своей фляжки в завинчивающийся металлический стаканчик. Он был озабочен, негромко говорил с мамой, но мне казалось, что теперь ему уже нравится идти на войну.

Наконец командир полка стал прощаться с женой, которая была во всем белом, кружевном, в шляпе с птицей, сидевшей на широких полях. Они поцеловались, а потом картинно, крест-накрест, поцеловали друг другу руки.

Оркестр, который почти все время играл, хотя его никто не слушал, погрузился в вагоны, поезд тронулся, и вместе с ним двинулась вдоль перрона вся шумная, пыльная, кричавшая, плакавшая толпа.

Отец еще был виден среди офицеров, стоявших на подножке. Он махал нам рукой. Мама сняла пенсне и молча вытерла слезы.

2

Отец ушел на войну, и поразительно, как мало изменилось в доме! Сперва полк стоял под Варшавой, потом был переброшен на Западный фронт. Узнали о смерти поручика Рейсара, brave офицера, всегда немного пьяного, почему-то носившего серьгу в мочке левого уха. Поохали, поогорчались. Отец прислал свою фотографию. Он был в папахе, с черно-седыми усами на похудевшем лице, верхом, серьезно-грустный. Посадка была не кавалерийская, живот слегка выдавался. На груди - медали. Эта фотография у меня сохранилась. Погордились, написали ему, поздравили - и все пошло как прежде, когда он уходил в свою музыкантскую команду и к вечеру возвращался домой. Мать вспоминала о нем, жалела. Но редко, редко!

...Он вернулся из госпиталя в неподходящий день - накануне вечеринки, которую старшие решили устроить на рождественских каникулах, хотя мама считала, что во время войны, когда в город ежедневно привозят раненых, нечего устраивать вечеринки. Но Лев был "за". И еще важнее, что "за" был тенор Вовочка, который снимал у нас комнату и в которого все были влюблены, даже Саша, аккомпанировавший ему на рояле.

Словом, все были огорчены, когда вернулся отец, потому что уже настроились на праздничный лад. В гостиной, которая была больше, чем столовая, накрывали на стол, а в столовой

хорошенькие сестры Черненко клеили цепи для елки. Студенты помогали им, и весь стол был завален золочеными орехами, картинками, коробочками и ангелочками с крыльями из ваты. Конечно, отец сразу заметил, что все помрачнели, когда он пришел,- испугались, что устроит скандал. Сестра сказала маме: "Даже сердце упало", и мама ответила: "А кто говорил, что не надо было этого делать?"

По-видимому, состоялся совет, на котором было решено, что Лев поговорит с отцом. Я не слышал этого разговора, кроме самого начала, когда Лев начал издали, а отец мрачно усмехнулся, услышав этот задушевный непривычный тон. Они ушли, а потом Лев вернулся и сказал маме: "Обещал". И пожал плечами: очевидно, не был уверен, что отец сдержит обещание.

Он сидел за столом, похудевший, больной, с неестественно черными, покрашенными усами, в парадном мундире,- захворал на позиции, и доктора думали, что язва желудка. Студенты смеялись, было шумно. Нам с Сашкой разрешили сидеть до двенадцати, и мы наелись до отвала - с провизией тогда было уже туговато, а за ужином все было вкусное и много. Так что некогда было смотреть на отца. Но я все-таки посматривал: за столом было тесно, и там, где он сидел,- тоже. Но вместе с тем вокруг него чувствовалась какая-то пустота, хотя Лев нарочно громко чокнулся и выпил за его здоровье. Отец пригубил и поставил рюмку на стол. Видно было, что он очень жалеет, что дал ему обещание.

И на другой день скандал все-таки разразился. Тенор Вовочка был мужчина жгучего вида, с толстой грудью и страстно раздувающимися, когда он пел, ноздрями. У него был хороший голос, который помог ему устроиться в тылу,- и действительно было бы очень жаль, если бы немцы убили такого талантливого человека. Но отцу не понравилось, что Вовочка таким образом воспользовался своим талантом. Отец сразу же с презрением сказал о нем: "Дерьмо". Это показалось мне кошунством, потому что, кроме Льва, который относился к тенору иронически, весь дом благоговел перед ним.

Он снимал у нас лучшую комнату и, по-моему, не платил. Нянька ворчала, что он много жрет, не по уговору, поскольку его вообще не брались кормить. И действительно, говоря об искусстве, он съедал по две тарелки супа и по пять котлет. Саша утверждал, что это адефагия, или неутолимый голод, и для науки интересен вовсе не Вовочкин голос, а как раз его аппетит. Во всяком случае, это было накладно. Пел он очень охотно, и почему-то чаще всего - романс "Тишина". Я помаю, как Лев, войдя в столовую с Летаветом, сказал ему, беспомощно раскинув руки:

"Этакая "тишина", изволите ли видеть, у нас с самого утра!" Но женщины слушали Вовочку с религиозным выражением -так на них действовал его тенор.

По-видимому, отец сразу потребовал, чтобы Вовочку выгнали из дома. Но мама объяснила, что надеется выдать за него свою сестру Люсю, и тут нечего было возразить, потому что это действительно было бы доброе дело. Мамина сестра была еще молода и с успехом играла в любительских спектаклях. У нее были прекрасные волосы до пят. Когда я слышал об этих волосах, мне всегда представлялась картинка в учебнике географии: "Первобытные люди". Она была еще девушка и нравилась Вовочке,- по мнению мамы, он уже обратил на нее внимание. Нам с Сашей казалось, что они уже давно обратили друг на друга внимание и что именно поэтому мало надежды, что ей удастся выйти за него замуж. Но отца удовлетворило мамино объяснение.

За обедом он молчал и старался не смотреть на тенора, хотя не мог удержаться от замечания, что он превосходно поправился,- несколько странно, поскольку он впервые увидел его лишь накануне. Но когда после обеда Вовочка зашел к маме, отец стал ходить по квартире оглядываясь, с изменившимся лицом. Он ходил в ночных туфлях, в военных брюках галифе со штрипками, и губы у него набухали.

Я готовил уроки, он подошел и спросил: "Давно он у вас?" Тенор жил давно, но я осторожно сказал: "Не очень". Потом я стал рассказывать, как он хорошо поет, почти не хуже Собинова, и что если бы он захотел, его без разговоров приняли бы в Мариинский театр. Я заметил, что рассказываю как-то поучительно, точно в назидание отцу, и что мне самому это немного противно. Отец послушал, а потом сказал: "Те все - большие сволочи, а ты - маленькая сволочь". Я видел, что ему до смерти хочется устроить скандал и он удерживается только потому, что дал обещание Льву.

Он ушел к себе и занялся туалетом - должно быть, решил пойти куда-нибудь из дома. И возможно, что все обошлось бы благополучно, если бы Вовочка не запел в маминой комнате: "Тишина, тишина".

Потом Саша утверждал, что отец взорвался потому, что тенор сфальшивил и вместо ля-бемоль взял си. Но, конечно, Саша мог так шутить только потому, что не видел отца в эту минуту. Темно-белый, с забытыми на лице прозрачными наусниками, он вышел из своей комнаты и, легко шагая, прошел в Вовочкину. Теперь ему было уже все равно, и то, что он увидел у тенора свое зеркальце для бритья, пригодилось ему просто для начала. Он бросил зеркальце на пол, раздавил каблуком и бешено обернулся,

словно кто-то подошел к нему сзади. Потом сорвал занавески с окон и, запутываясь в них, швыряя, стал сокрушать все без разбора, сперва руками, а потом, когда он их порезал, стулом, которым с размаху двинул по люстре.

Нянька побежала к маме, замок щелкнул в двери. Это была ошибка, потому что женщины испугались за Вовочку и он остался в маминой комнате. Было бы разумнее, если бы он убежал. Опустив голову, с полузакрытыми глазами, отец вышел из комнаты, держа в руке обломок одного из тех дубовых стульев, которыми так дорожил. Сейчас же он бросил этот обломок и, зайдя на кухню, взял с полки большой медный пестик.

Нянька закричала: "С ума сошел!" Он отшвырнул ее и, размахивая пестиком, подошел к маминой двери. Мама была больна. Утром у нее была сердечная слабость, и Вовочка зашел ее проведать, хотя, конечно, мог бы в подобном случае не петь.

Раз! Дверь затрещала, и я услышал, как в столовой истерически заплакала Люся. Два! Нянька побежала за дворником. Он пришел с вожжами и стоял, нерешительно почесываясь и переступая. Три! Дверь затрещала, и мама встала на пороге, бледная, без пенсне, в голубом капоте.

- Опомнись, что с тобой?

Отец бросил пестик. Они постояли немного, потом обнялись и заплакали. Я тоже заплакал, а нянька сказала громко, на весь дом:

- Слава богу! - И, повернувшись к дворнику, добавила:- Иди домой.

Отец уехал в Петроград - оказалось, что у него язва желудка. Там ему поставили сто семьдесят льняных припарок, и, вернувшись, он показывал мне свой коричневый, обожженный живот.

Мать беспокоилась за старших - из Петрограда то и дело доносились слухи о студенческих беспорядках. Время от времени она проводила два-три дня в постели, держа на сердце блин из белой глины, как ей советовал петроградский профессор Гизе. Но вот блин перестал помогать. В семье заговорили - почему-то шепотом, - что Лев дрался на дуэли и ранен.

Мать, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы его не исключили из университета, пошла к юристу, который сказал, что обидчик, обнаживший оружие, подвергается лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Оставалось надеяться, что Лев - не обидчик.

Отцу о дуэли не сказали. Дядя Лев Григорьевич молодецки тряхнул головой и поправил кончиками дрожащих пальцев поредевшие, поседевшие усы (он давно уже снова отпустил их).

А я... Боже мой, какое смятение нахлынуло на меня! Дуэль, поединок, вызов - эти слова всегда загадочно волновали меня.

То был приятный, благородный

Короткий вызов, иль картель...

От одного этого слова звездочки бежали по моей спине.

А дуэль в тургеневском "Бретере", когда угрюмый, притворяющийся равнодушным гордецом Лучков убивает милого, искреннего Кистера накануне его свадьбы! А "Три портрета"! На дуэли дрались, когда была задета честь; на дуэли дрались ножами, как в "Сент-Иве" Стивенсона. На дуэли дрались из честолюбия, из мести, из подлого расчета, ответный выстрел откладывался, чтобы убить противника, когда он будет счастлив! Все чувства перекрещивались, попевая друг за другом, связываясь и распадаясь, участвовали в дуэли. Все ли? А трусость?

Да, это был не прыжок на сосну, даже если она росла на отвесном склоне. Не плавание под плотами. А уж то, что я подошел к Альке, вопреки приказу Бекаревича, ну что ж, в самом худшем случае я провел бы в карцере воскресенье.

Но как держался бы я под наведенным в десяти шагах пистолетом? Хватило бы у меня силы воли, чтобы стоять, гордо поднимая голову и сложив руки на груди? Или, чего доброго, я пустился бы опрометью в кусты, как перепуганный заяц?

О, я не сомневался в том, что брат держался, как пушкинский герой, который под пистолетом выбирал из фуражки спелые

черешни, выплевывая косточки, которые долетали до Сильвио!

В знакомой музыкальной семье Лев был представлен девушке, учившейся на курсах иностранных языков в Петербурге, и стал часто бывать у нее.

"Кира любила поэзию, и я часто читал ей Верлена, Бодлера, Сологуба, Тютчева при свете несильной лампы, стоявшей рядом с креслом и освещавшей только книгу,- пишет он в своих воспоминаниях.- Наши отношения были чисто дружеские. Вероятно, они не остановились бы на этой границе. Но Гамсун научил нас думать, что завершенность - это падение, что счастье, героика - в стремлении к цели, но не в ее осуществлении. Пагубная поэзия незавершенности владела тогда мною, как и многими другими. Это настроение тогда было особенно сильным, ибо совсем недавно мой первый "завершенный" роман оказался на песке".

Верлен, Бодлер, "свет несильной лампы", "пагубная поэзия незавершенности" - все это черты, в которых я с любовью узнаю старшего брата. У него было свое, очень молодое и оставшееся на всю жизнь молодым отношение к изящному - гимназическое, псковское, сложившееся в спорах десятых годов, когда в жизни поколения небывалое до тех пор место занимало искусство.

"Однажды мы сидели, молчали и слушали Вагнера "Тристана и Изольду" (сестра Киры, игравшая на рояле в соседней комнате, была первоклассной пианисткой). Стук в дверь - и в комнату вошел поручик Лалетин... Сначала молчали. Потом завязался разговор. Через несколько дней он должен был уезжать на фронт. Неужели уедет, так и не получив от Киры определенного ответа?"

Возможно, что этот разговор действительно происходил под звуки "Тристана и Изольды",- впоследствии, в рассказе брата о его дуэли, эта подробность не упоминалась.

"Я был лишним и хотел проститься. Кира ни за что не отпускала меня. Она шутила, говорила, что будет ему писать, что не рождена для трагедии, что все решится, когда кончится война. Он ответил, что, если не получит ответа до отъезда, он "перестреляет студентов, которые морочат ей голову дурацкими стихами". Я попросил его быть сдержаннее, он ответил грубым ругательством и выскочил из комнаты. Кира смеялась".

Нетрудно предположить, что поручик не читал Гамсуна и сомневался, что брат склонен к "пагубной поэзии незавершенности".

"На следующий день меня посетили его два приятеля и передали мне вызов на дуэль. Дуэль состоялась 12 апреля 1915 года.

Дистанция была 12 шагов. Каждый противник не делает

более двух выстрелов. Порядок выстрелов - по жребии. Лесная поляна, на которой мы стояли, сняв верхнюю одежду, была залита солнцем. Это был первый по-настоящему весенний день. Снег местами уже стоял, и на прогалинах была видна прошлогодняя трава. Весенний воздух был свеж.

Мы написали записки: "В смерти никого не винить" - и положили в свои карманы. Я вытащил первый и четвертый номер.

Передо мной в одной рубашке стоял высокий, широкоплечий, розовощекий молодой человек с правильными чертами лица, с узковатым подбородком. Он смотрел на меня вызывающе. Никакого желания стрелять в него у меня, конечно, не было. Но я ясно сознавал, что он убьет меня если не вторым, так третьим выстрелом. Как же лишить его этой возможности? Мой выстрел был первый. Я поднял пистолет и стал целиться в голову. В его глазах было презрение и ненависть, но правая опущенная рука слегка вздрогнула. Я перевел прицел на грудь, потом на живот. Чуть заметно живот втянулся. Правая рука опять вздрогнула. А что, если стрелять в щель между правой рукой и туловищем, почти под мышку? При отклонении в ту или другую сторону будут порваны или мышцы руки, или мышцы туловища, тогда стрелять правой рукой ему будет трудно.

Выстрел. Пуля прошла ниже, чем я целил, скользнув по ребрам. Противник мог стрелять правой рукой. Один из секундантов, студент-медик, наложил ему повязку, и он поднял пистолет. Выстрелы последовали один за другим. Первая просвистела над самым ухом. Второй я был легко ранен в правую кисть. Рана сильно кровоточила. Четвертый выстрел был сделан демонстративно в воздух. Мой противник уехал не прощаясь. Простреленная окровавленная манжета хранилась у меня долго - знак романтической глупости юных лет".

Она хранится и доньше, и, читая воспоминания брата, я пользовался ею вместо закладки. Толстая крахмальная манжета с порывевшими пятнами крови. Под надорванной петлей - маленькая круглая дырочка, след пули.

В статье "Как мы пишем" Тынянов советовал не полагаться на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его: "Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его".

Передо мной был немой, но продырявленный пулей документ. Самое присутствие его исправляло возможные неточности в рассказе о дуэли. Почему Лалетин стоял перед пистолетом, опустив правую руку? Ведь он мог поднять ее, локтем защищая сердце? Почему опущена подробность, о которой, помнится, рассказывал мне брат? Когда после выстрела запонка упала на траву, брат сделал шаг, поднял запонку и, сунув

ее в карман, занял прежнее место. Не думаю, что он пожалел грошовую запонку. Скорее это было похоже на выплевывание косточек черешни, заставившее Сильвию отложить свой выстрел.

Трезвость, с которой он вглядывался в будущее, ощущалась в нем почти физически: он обдумывал, взвешивал - и рисковал. Обладая даром сознательного наслаждения жизнью, он всегда готов был поступиться этим даром для достижения цели. Так он выбирал факультет.

Юридический был отвергнут за блеск и легкость, хотя внешние черты как раз соответствовали этой легкости и этому блеску - уже и тогда он был прекрасным оратором.

Отец настаивал на Военно-медицинской академии - он был верен себе: "Армия, армия!" Лев отказался, поссорившись с ним надолго, на годы... Он подал на биологическое отделение Петербургского университета, и это было одной из первых попыток угадать себя, впоследствии повторявшихся с неизменным успехом. Но от толстовского завета на гимназическом жетоне: "Счастье в жизни, а жизнь в работе" - до выбора профессии было еще далеко. Преподавателем природоведения в средней школе он быть не собирался.

Случай всю жизнь шел за ним по пятам. Это был случай из случаев: его исключительность соблазнительна для романиста. Когда в 1915 году был объявлен первый студенческий призыв, полиция пыталась задержать студентов, собравшихся в актовом зале на общефакультетскую сходку. Брату удалось убежать. Городовые погнались за ним, он кинулся по коридору, опустился по лестнице и распахнул первую попавшуюся дверь.

Ассистент профессора Догеля сидел за столом и пил чай. Это был доцент А. В. Немилов. Не потеряв ни минуты, он накинул на Льва свой халат, усадил за микроскоп и спокойно вернулся к своему чаепитию. Дверь распахнулась... Вбежал пристав, за ним городской.

- Виноват, господин профессор. Сюда забежал студент.
- В самом деле? Очень странно, но я его не заметил.
- Разрешите обыскать помещение?
- Ради бога. Но уверяю вас, посторонних здесь нет.

"Немилов говорил очень спокойно, барабанил пальцами по столу,- пишет в своих воспоминаниях брат.- Я сидел спиной к приставу, боясь выдать себя частым дыханием. Пристав вышел, и

слышно было, как он побежал наверх".

Прошло полчаса, все стихло, брат хотел уйти, но Немилов не отпустил его. Закрыв лаборатории на ключ, он взял номерок и принес из раздевалки шинель.

"Мы еще долго сидели с ним. Он рассказывал поразившие меня факты о деятельности желез внутренней секреции и в заключение дал толстую книгу на немецком языке, посвященную этому вопросу.

- Вы читаете по-немецки?

- Плохо, к сожалению.

- Вот и учитесь по этой книге. Даю ее вам до осени. Мы вышли. Было около восьми часов вечера - мы провели в лаборатории почти весь день. Только перейдя Неву и убедившись, что все благополучно, Немилов ушел".

Брат и раньше бывал на кафедре известного гистолога А. Г. Догеля. И все же после встречи с Немиловым начался новый отсчет времени. Не доцент Немилов, а сама биология, накинув на брата халат, усадила его на всю жизнь за лабораторный стол. Перед взглядом студента, счастливо избежавшего ареста, постепенно, с годами и десятилетиями, стала открываться такая даль, которая не мерещилась самому смелому воображению.

Брат Саша начал читать сразу с Шерлока Холмса, но не конан-дойлевского, с непроницаемо костлявым лицом и трубкой в зубах, а санкт-петербургского, выходившего тонкими книжками, стоившими лишь немного дороже газеты. Эти тоненькие книжки были, по слухам, творением голодавших столичных студентов. Вскоре к Шерлоку Холмсу присоединился Ник Картер, хорошенький решительный блондин с голубыми глазами, и разбойник Лейхтвейс, черногривый, с огненным взглядом, в распахнутой разбойничьей куртке, из-под которой был виден торчавший за поясом кинжал. Украденные Лейхтвейсом красавицы в изодранных платьях и с распущенными волосами были изображены на раскрашенных обложках.

Саша рассказывал, останавливаясь в неожиданных местах, хохоча и восхищаясь. Я слушал его, чувствуя, как сладкая холодная дрожь бежит по спине, шевелит кожу на голове. Это слушание, эта пора "до чтения" странным образом повлияла на меня, заронив сомнение в необходимости книги. Без особенной охоты я учился читать. Зачем мне этот скучный продолговато-прямоугольный предмет, в котором живые, звучащие слова распадаются на беззвучные знаки? Что мне в книгах, за которыми нет темного, как на иконах, цыганского лица няни? Нет носатого, с заросшим лбом, хохочущего брата? Нет усталого лица матери, приходившей ко мне перед сном в халате, без валика в волосах - тогда женщины носили валик.

Читая "Письма и неопубликованные материалы" известного физиолога А. А. Ухтомского, записанные его ученицей А. А. Шур ("Письма А. А. Ухтомского", "Пути в незнаемое". "Советский писатель", 1973, стр. 418), я нашел ответ на эти детские вопросы: "... Были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, соответственно, нет ни малейшего побуждения к писательству. Это, во-первых, очень простые люди, вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им, как искреннейшим собеседником. И, во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством, как почти недостижимые исключения: это уже не искатели собеседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал и узнавал... О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если

бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники - Платон и Ксенофонт".

Рассуждая о том, что писательство возникло из неудовлетворенной потребности иметь перед собой собеседника, Ухтомский приходит к выводу, что живая речь, по своему существу, дороже для человека, чем книга.

Я узнал в этих соображениях свою детскую неприязнь к книге, свою пору "до чтения", играющую в жизни незаметную, но важную роль.

2

Но вот наступили - и очень скоро - первые чтения. Теперь я знал, что в сказках далеко не все правда, а многое - неправда. У Кота в сапогах не было сапог, Иванушка-дурачок никогда не мчался на Сивке-бурке, вещей Каурке. Никогда не существовала пещера Лейхтвейса, о которой, еще и перевирая, рассказывал мне брат. Но для поющей дудочки в душе осталось особое место. Все было неправдой, а она - если и неправдой, так какой-то особенной, которая важнее, чем правда.

Чем же были для меня первые книги - "Серебряные коньки", "Маленькие женщины" и "Маленькие мужчины"?.. "Княжна Джаваха" и "Леди Джен, или голубая цапля"? Они были для меня историями, которые кто-то выдумал, а потом записал, потому что ему некому было их рассказать. Не станет же взрослый человек записывать для себя эти выдумки, интересные только детям? Мне инстинктивно хотелось, чтобы они были не напечатаны, не сложены из букв, не спрятаны в картонные переплеты, а рассказаны. Разумеется, я тогда не знал, что именно так и были созданы лучшие детские книги - "Алиса в стране чудес", сказки Перро и Андерсена. Сперва рассказаны, а потом записаны. Я убежден и теперь, что для детей надо писать именно так.

3

Мне кажется, что главная черта детского чтения - театр для себя, непреодолимая и естественная склонность к театральной игре. Любовь к превращению себя в других, начинающаяся очень рано, с двух-трехлетнего возраста, сопровождается беспрестанной инсценировкой, в которой действуют созданные детской

фантазией маски. В этом отношении дети мало отличаются от профессиональных актеров. "По-моему,-писала Комиссаржевская,-нельзя хорошо сыграть роль, где так часто себя узнаешь. С той минуты ты начинаешь хорошо играть, когда отрешаешься от себя и вскочишь в изображаемое лицо, а себя есть ли охота подавать?" ("Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской", 1911, стр. 141).

В чтении первых книг невольно участвует эта ставшая привычной любовь к перевоплощению. "Театр для себя" вдруг получает свет, реквизит, декорации, кулисы. Начинается - по меньшей мере, так было со мной - лихорадочное, неутолимое чтение. Это процесс, непоследовательный, обособленный, не соотносящийся с окружающим миром, шагающий через пропасти обыденности, через машинальность - и через фантастические по своей безграмотности переводы. Автор - это характерно - безымяннен, неведом, почти безразличен: Густав Эмар, Фенимор Купер. Кто стоит за этими загадочными именами? Жив или умер этот писатель? Когда, с какой целью он написал свою книгу? Не все ли равно!

Мать выписала мне журнал "Вокруг света", но он не очень заинтересовал меня. Зато от приложений - это был Виктор Гюго - меня бросало в жар и холод. Мне казалось, что лучше написать невозможно. Одна беда: тоненькие книжки этих приложений каждый месяц обрывались на полуслове. Господин Мадлен, он же - каторжник Жан Вальжан, навестив больную Фантину и собираясь уходить, ищет свою шляпу. "Не угодно ли мою?" - раздается чей-то иронический голос. Но чей? Это можно было узнать только через месяц. Целый месяц я бродил, сочиняя продолжение драматической сцены.

Но вот пришла пора, когда среди окружавших меня и могущественно увлекавших в разные стороны книг я впервые стал отбирать, отличать одни от других.

В беспредельности новых и новых открытий, в раскате невероятных происшествий я впервые почувствовал себя не чеховским Чечевичным, не гимназистом, мечтающим убежать в пампасы, а истинным читателем, то есть человеком, который в долгожданный час остается наедине с книгой. Этому научил меня Роберт Льюис Стивенсон, отстранив десятки других иностранных писателей с их привлекательными и все-таки почти ничего не значившими именами. У нас знают Стивенсона главным образом по его роману "Остров сокровищ". Об этой книге надо упомянуть, потому что Стивенсон трогательно сказался не только в ней, но и в ее истории. Для своего тринадцатилетнего пасынка (впоследствии известного писателя) Ллойда Осборна он нарисовал карту с пиратско-мальчишескими названиями: "Холм

Бизань-мачты", "Остров Скелета", а потом от имени такого же мальчика, как его пасынок, написал роман -пространный комментарий к этой загадочной карте. Однако те, кто прочитал только "Остров сокровищ", не знают Стивенсона. Он был первоклассным критиком, эссеистом, очеркистом и драматургом. Многие его произведения не вошли ни в старое собрание сочинений (1913-1914), ни в новое, пятитомное. Английское издание состоит из тридцати томов.

Почему в неудержимом разбеге детского чтения меня остановил Стивенсон? Потому что я впервые почувствовал обязывающую серьезность автора по отношению к тому, что происходит с его героями. Мне удалось нащупать его нравственную позицию, раскрывающуюся медленно, шаг за шагом. За кулисами театра-книги я увидел автора, силу его власти, направление его ума, преследующего определенную цель.

К "Острову сокровищ" был приложен портрет Стивенсона - и в тумане головокружительного чтения мне долго мерещился молодой человек с распадающейся как-то по-женски шевелюрой, усатый, сидящий за столом, держа перо в узкой руке, с нежными, требовательными чахоточными глазами. Он мог быть другим. Но именно он, и никто другой, приоткрыл передо мной таинственную силу сцепления слов, рождающую чудо искусства.

Русскую литературу преподавал Владимир Иванович Попов, автор хрестоматии "Отблески", которой мы пользовались, кажется, начиная с четвертого класса. В наше время такие книги называются просто хрестоматиями, а между тем нечто привлекательное, поэтическое звучало тогда для нас и в самом названии "Отблески". Владимир Иванович был похож на свою большую, толстую, добрую книгу, но похож именно потому, что она совсем не была "хрестоматийной" в истертом, банальном смысле этого слова. Он понимал, что русскую литературу совсем не надо учить, как учат алгебру или географию. Он понимал, что надо учить не литературу, а литературой, потому что в мире не существует более сильного и прекрасного средства, чтобы заставить людей прямо смотреть друг другу в глаза. Смело рисковать во имя высокой цели. Быть не только свидетелем, но судьбой своего времени. Понимать, что захватывающе трудное - захватывающе же и интересно.

Все это относилось к нравственной стороне преподавания

Владимира Ивановича. Но была и другая. В русскую литературу я ринулся с разбега, как верный подданный "Короля Самоанских островов"-так называли Стивенсона. В поэзии или прозе меня интересовала последовательность событий, их внутренняя связь. На уроках Владимира Ивановича для меня впервые открылась соотнесенность между литературой и жизнью. В Николеньке толстовского "Детства" я узнавал себя. Я ехал с Олениным на Кавказ. Мой отец служил в Омском пехотном полку, и среди офицеров я искал Вершинина и Тузенбаха, а среди своих товарищей по классу - гимназистов Гарина-Михайловского. В провинциальном городе, битком набитом реалистами, семинаристами, студентами Учительского института, постоянно спорили о Горьком, Леониде Андрееве, Куприне. Спорили и мы - по-детски, но с чувством значительности, поднимавшим нас в собственных глазах.

Преподавание литературы, в котором были заложены начала свободного ее изучения, возвращало к прочитанному охотой, а не силой. Ничего окаменелого не было для нас в Лермонтове, в Гоголе и уж конечно во Льве Толстом, кончину которого - за два года до моего поступления в гимназию - я помню отчетливо. Мы занимались литературой продолжающейся, в которой никто не превращался в собственное бронзовое или каменное изваяние.

Широко практиковались "вольные темы". Так, в пятом классе я написал сочинение "Иуда Искариот и другие" по одноименному рассказу Леонида Андреева, а в другой раз рассказал свой сон, украсив его подробностями, которые не пришли бы в голову - так мне казалось - даже Эдгару По.

В большой комнате на втором этаже деревянного дома - длинные столы, над которыми висят керосиновый лампы-"молнии" с пузатыми стеклами. За барьером - дама в черном платье с белым воротничком. Она негромко спрашивает, что мне угодно, и, усомнившись в моем праве на абонемент (я был лишь немного выше барьера), все же выдает мне "Давида Копперфильда". Я нахожу свободное место, раскрываю книгу - и не могу читать. Я поражен.

В городе еще позвякивают звоночками двери магазинов, плетутся извозчики, цокают по булыжнику копыта. На Сергиевской, как всегда по вечерам,- гулянье: гимназисты и реалисты в заломленных, измятых для шиксу фуражках гуляют с

гимназистками по правой стороне улицы. (Иной год модно прогуливаться по правой, а иной - по левой.) Шумят, перебрасываются шутками, смеются.

А здесь, в библиотеке, в полной тишине слышен только шелест переворачиваемых страниц. Здесь - читают. Я - читатель. Мать Давида умирает, хотя госпожа Мордстон полагала, что она могла бы и не умереть, если бы очень постаралась. Давид идет в школу, и, когда товарищи смотрят на него, он замедляет шаг и делает скорбное лицо, потому что у него умерла мать, и он теперь особенный человек, не такой, как другие...

Так магический диккенсовский мир навсегда связался в моем сознании с ошеломившей меня серьезностью чтения. Впервые я увидел себя со стороны. Да, мы такие же, как все, но еще и другие. Мы - особенные. В городе происходит то, и другое, и третье. Мы не участвуем в том, что происходит в городе. Мы - читатели. Мы читаем.

Ночью, когда мне не спалось, я сочинял стихи, подражая Жуковскому, которого узнал прежде Пушкина и полюбил на всю жизнь. Множество незнакомых слов в его сочинениях поразили и очаровали меня. Его баллады были как будто написаны на неизвестном языке. Что такое "анакорет"? Кто такие Эвмениды? Почему он пишет не "ворон", а "вран", не "берег" а "брег", не "холодный", а "хладный"? Я никого не спрашивал, где находится Инглигфор или Стикс, и мне не удалось найти их на географической карте. Однажды я спросил Сашу, кто такой Асмодей, и он ответил:

- Дурак, не все ли тебе равно? Ведь это поэзия.

Может быть, Саша был прав?

Размышляя о сравнительном могуществе сатаны и бога, я читал "Балладу, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди".

Почти в каждой балладе кто-нибудь умирал или кого-нибудь убивали. Рыцарь Роллон, не испугавшийся самого сатаны, одолжил ему на год свои перчатки и был страшно наказан - в сущности, за простую любезность. В двух балладах-"Людмила" и "Ленора", странно похожих,- жених являлся мертвым к невесте, потому что не мог забыть ее и после смерти. Небо карало беззаконную любовь, но и законная почти всегда кончалась печально для влюбленных. Волшебные предметы - очарованная ладья, нетленный булат, Поликратов перстень, Аргусов талисман - участвовали в балладах, и становилось ясно, что обо всем этом можно писать только в стихах. Недаром же стихи были так не похожи на обыкновенную человеческую речь! Мне казалось, что поэзия требовала какого-то тайного уговора - все условились не замечать ее странностей, так же как в опере артисты как бы условились с публикой, что они будут не говорить, а петь.

Прошло два или три года, и в моей ночной поэзии вместе с Жуковским стал участвовать театр.

Летом я каждое воскресенье ходил в театр, и, хотя в утренниках играли второклассные актеры, о которых в нашем доме говорили с пренебрежением, мне казалось, что лучше сыграть невозможно.

Как и поэзия, театр был полон загадок. На занавесе был изображен древнегреческий бог Пан, безобразный, смеющийся, с венком на вьющихся волосах. Он сидел на упавшем дереве, поднеся флейту к губам и скрестив козлиные ноги. Перед началом спектакля, когда в зале становилось темно, раздавался

таинственный удар в гонг. В мелодрамах "Две сиротки" и "Жизнь игрока" актеры почему-то говорили прозой, но с таким выражением, как будто читали стихи. Напротив, в пьесах Островского актеры старались сделать вид, что они - обыкновенные переодетые люди. Да и не очень-то переодетые! В Гостином дворе было сколько угодно таких приказчиков и купцов. Отец Борьки Алмазова мог, не переодеваясь и не гримируясь, перебраться из своего трактира на сцену.

В некоторых пьесах актеры говорили то, что должен был услышать зритель, но как бы не слышал тот, с кем они говорили. Это называлось "в сторону" - и они действительно отворачивались от собеседника и даже прикрывали рот рукой.

Мне хотелось вмешаться в то, что происходило на сцене. Это было невозможно, и я вмешивался в уме. Я придумывал другие концы - более счастливые или, по меньшей мере, справедливые. Мне хотелось, чтобы в "Бесприданнице" Карандышев лучше убил Паратова, а не Ларису.

Но вот мать разрешила мне посмотреть "Орленка" Ростана - и все, что я видел прежде, показалось мне скучным и обыкновенным. Как горячо сочувствовал я Орленку, которого Меттерних заставляет забыть своего отца! В каком восторге был от наполеоновского гренадера Фламбо, в его высокой медвежьей шапке! Как презирал безвольную белесую Марию-Луизу, которую играла какая-то переваливающаяся с ноги на ногу гусыня!

После "Орленка" я попробовал писать пьесы в стихах, и хотя у меня ничего не получалось, все равно это было интересно. Некоторые слова соединялись сами собой, точно они только этого и ждали. Другие разбегались, и когда я наконец находил то, которое искал, оказывалось, что мне нужно совсем другое. Подбирая рифмы для второй строфы, я забывал первую и думал с отчаяньем, что никогда не стану поэтом, потому что у меня плохая память. Темнота, в которую был погружен город и дом, была темнотой только потому, что в ней происходило передвижение особенного ночного света. Тишина была тишиной только потому, что время от времени что-то шелестело, потрескивало, шуршало. Я сочинял стихи...

Кроме ночной поэзии была еще и дневная. Днем я писал стихи легко, почти не задумываясь. Для Саши, который нахватал двоек, я сочинил экспромт:

Кафедра. Учитель. Притихший класс,

Учитель - мучитель считается у нас.

Для мамы, которая устраивала бал-маскарад в Пушкинском театре "в пользу недостаточных студентов-псковичей", я тоже сочинил тогда экспромт:

Темно. По улицам Дамаска
Крадется медленно таинственная маска.
Мама была в восторге.

Так и видна эта темная улица,- сказала она,- которой
медленно крадется маска.

Она заставила меня прочесть мой экспромт при гостях, и гости одобрили его, хотя и спросили, почему действие происходит в Дамаске, а не в Пскове, и на улице, а не в Пушкинском театре, где устраивается бал-маскарад. Они не знали, что я стану поэтом...

Ночные и дневные стихи перемешались после этой встречи. Я выбрал лучшие из них и с небрежным сопроводительным письмом послал в журнал "Огонек".

Прошел месяц. Я перелистывал "Огонек" и удивлялся: редакция печатала стихи, которые были гораздо хуже моих. Под ними стояла подпись какого-то Сологуба. Журнал не напечатал ни одного моего стихотворения, и даже в "Почтовом ящике" в ответ на мое письмо не появилось ни слова.

Летом 1915 года к старшему брату приехал Тынянов, я прочел ему одно стихотворение, и он одобрительно кивнул. С воодушевлением я стал читать второе, запнулся, и, к моему удивлению, он закончил строфу. Потом прочел вторую, потом, засмеявшись, третью. Стихи были удивительно похожи на мои. Я растерялся.

- Разве я читал тебе эти стихи?
- Нет. Но понимаешь... Тебе сколько лет?
- Тринадцать.
- В твоём возрасте все пишут такие стихи.

В утешение он прочел мне несколько стихотворений Блока, и новая жизнь открылась для меня. Я влюбился в Блока.

В этот день, наскоро проглотив обед, я полез в шкаф, где на дне валялась куча старых носков, и, выбрав две пары не очень рваных, надел их, проложив для тепла газетой. День был морозный.

Помнится, я еще подумал, не поточить ли коньки - у меня были коньки "нурмис", на которых катались еще старшие братья, - и не стал точить. Я торопился: после пяти часов на катке у Поганкиных палат играл военный оркестр и брали на две копейки дорожку.

Алька Гирв методически вырезал на льду свои инициалы, и я покатил к нему - надо было поговорить о вчерашнем. У нас был кружок по литературе: младший Гордин, братья Матвеевы, Рутенберг и я собирались у Альки и читали рефераты. Как раз накануне, когда мы только что расположились и закурили, вошел Иеропольский, новый учитель, заменивший в четвертом классе Попова. Мы его не любили. Он был коротенький, красненький, в очках, с круглой, стриженной бобриком головкой. Поднимая толстый указательный палец, он говорил с поучительным выражением: "Надо произносить не Петр, а Петр, Петр Великий". Иеропольский пришел потому, что он ухаживал за одной из Алькиных сестер.

Я не сомневался, что он доложил директору о нашем кружке, но Алька сказал:

- Наплевать.- И прибавил, подумав: - Тем более что в Петрограде - революция.

Оркестр заиграл вальс. Пошел снег. Мне захотелось есть, хотя я недавно пообедал. Отставной усатый поручик в бекеше, катавшийся на коньках, хотя ему было добрых лет сорок, лихо подлетел к хорошенькой гимназистке. Все было совершенно так же, как в любой вечер в конце февраля в Пскове или в другом городе Российской империи.

Но уже на следующее утро что-то сдвинулось, смешалось и стало меняться стремительно, как на киноэкране, где даже похороны Золя, которые я видел в "Патэ-журнале", происходили с головокружительной быстротой.

При слове "революция" в моем воображении возникали баррикады - по меньшей мере две, если удастся взорвать Ольгинский мост и отрезать Завеличье, где стоял Красноярский полк. Впрочем, полк давно ушел на позиции, в казармах формировались маршевые батальоны.

Первую баррикаду я решил устроить из мешков с мукой перпендикулярно к Торговым рядам. В Торговых рядах были оптовые склады муки, а мешок с мукой - как утверждал Саша - не могла пробить даже пуля из винтовки образца 1891 года. Таким образом, присутственные места были бы отрезаны вместе с губернатором и всей его канцелярией.

Вторая баррикада - на Кохановском бульваре - должна была остановить правительственные войска, которые, прибыв из Петрограда, без сомнения, заняли бы казармы Иркутского полка. Тут, очевидно, пришлось бы валить деревья и телеграфные столбы - широкий бульвар было трудно перегородить, хотя я надеялся, что удастся опрокинуть два-три вагона трамвая.

Главный штаб Северо-Западного фронта помещался в здании нашей гимназии. Я видел генерала Рузского, командующего, - маленького, в очках, озабоченного, с узким симпатичным лицом. Он нравился мне, но это, разумеется, не имело значения. Кто-нибудь из нас, переодевшись в форменный сюртук сторожа Филиппа и нацепив седые, как у него, баки, мог войти в гимназию и, мигом вбежав по лестнице, распахнуть дверь в кабинет Рузского.

- Сдавайтесь, генерал! Сопротивление бесполезно.

...У Торговых рядов городские сомкнутым строем идут на баррикаду. Свист пуль. Взрывы гранат. По одну сторону - братья Матвеевы, по другую - их отец, полицейский пристав. Мне хотелось, чтобы он, как Жан Вальжан, бросил свой мундир через баррикаду, но, зная пристава, я понимал, что рассчитывать на это не приходилось.

К полиции присоединяются мясники с топорами. На пожарной вышке вывешиваются четыре шара - это значит, что огнем охвачен весь город. И вот подпольщики во главе с доктором Ребане выходят из своих подвалов с бомбами в руках.

Словом, революция представлялась мне кровавой, трагической схваткой. Но ничего подобного не произошло в первые дни марта, а то, что произошло, было похоже на пасху.

На пасхе красные бумажные цветы втыкались в куличи, с утра до вечера приходили и уходили гости, все было радостно возбуждено, много смеялись и чего-то ждали. И в эти дни, как

только стало известно, что царь отрекся от престола, весь город надел красные банты, со стола не убирали, гости приходили и уходили, одна новость сразу же тонула в десятке других, и дни, хотя еще была зима и рано темнело, стали казаться долгими, бесконечными. Никому - так же как на пасхе - не хотелось спать. И мне было весело, и я был радостно удивлен, увидев на углу Гоголевской и Сергиевской, где всегда стоял знакомый городской, семинариста с красной повязкой на рукаве. На повязке появилось незнакомое слово: "Милиция".

Можно было не сомневаться в том, что революция действительно произошла, а не приснилась. Но мне казалось странным, что она произошла без баррикад, без уличных схваток. Только в Петрограде немногие из городских оказали сопротивление. В Пскове их почти не трогали - пристава Матвеева я встретил на Сергиевской в штатском. Ни единого выстрела! Между тем царь отрекся от престола именно в Пскове...

Да, революция произошла с удивительной легкостью и быстротой. Не оказалась ли она неожиданностью даже для революционеров?

По-видимому, на этот вопрос мог ответить Толя Р., семиклассник, который жил у нас, потому что в городе Острове (откуда он был родом) не было мужской гимназии. Мама согласилась взять его на пансион в надежде, что он, как примерный мальчик, благотворно подействует на меня и Сашу. Примерный мальчик стал пропадать до полуночи - он участвовал в одном из подпольных кружков.

У Толи были серые смеющиеся глаза и отливающие синевой впалые щеки. Он долго, умно разговаривал с гимназистками, а потом, смеясь, рассказывал, что ему опять не удалось влюбиться. В конце концов удалось, и с тех пор он был постоянно влюблен - каждые две недели в другую.

В нем была черта, о которой я догадывался и в те годы, когда мы почти не думали друг о друге. Он ценил настоящее, но будущее имело для него неизмеримо большее значение. "Сейчас" было черновиком для "потом", сегодня - для завтра. А когда наступало завтра, он снова мог не пообедать, опоздать на свидание, не приготовить уроки. Впрочем, он их никогда не готовил.

В эти дни его "существование начерно" превратилось в почти полное исчезновение. Он являлся с новым поразительным известием, хватал со стола кусок хлеба и убегал.

Я встретил его на набережной вечером, третьего или четвертого марта. Он куда-то летел, заросший, похудевший, мрачный. Не помню, о чем я спросил его. Вместо ответа он

сильно ударил меня кулаком в грудь и ушел.

Я не стал спрашивать - за что? Я понял. Пока я строил баррикады в воображении, он на деле готовился к революции и теперь был в бешенстве, что ему ничем не удалось пожертвовать для нее.

3

Я помню общее собрание учащихся средних учебных заведений в актовом зале гимназии под председательством нашего директора Артемия Григорьевича Готалова. В городе говорили, что он - карьерист, потому что во время войны переменил свою немецкую фамилию на русскую. Но мне он нравился. Он был высокий, полный, величественный, с зачесанными назад серо-стальными волосами. Мне казалось, что настоящий директор должен ходить именно так -тяжеловато и неторопливо, именно так покровительственно щурить глаза и слегка заикаться. Нижняя губа у него была большая, немного отвисшая, но тоже представительная. Гимназисты непочтительно называли его Губошлепом.

Не прошло и полутора лет с тех пор, как он устроил гимнастический смотр на плацу у Поганкиных палат и в присутствии генерала Куропаткина произнес речь о том, что воспитанники Псковской Александра Первого Благословенного гимназии проходят сокольскую и военную подготовку, думая только о том, чтобы поскорее попасть на позиции и, если понадобится, умереть за российский императорский дом. Положение вещей изменилось с тех пор, и новая речь на первый взгляд ничем не напоминала прежнюю. Но было и сходство. В обоих случаях директор обращался к нам и в то же время не к нам. На смотре - к генералу Куропаткину, а на собрании - к Временному правительству, которое он, на всякий случай, все-таки не назвал.

Так или иначе, всем стало ясно, что он одобряет революцию и стоит на стороне новой власти. Одновременно он решительно возразил против "излишне активного" участия воспитанников средних учебных заведений в дальнейшей общественной работе. То, что было допустимо в первые, радостные дни, является нежелательным теперь, когда учащиеся должны заботиться о том, чтобы закончить год с должным успехом.

На собрание почему-то пришли родители, и это было ошибкой, потому что оно сразу же стало напоминать горячие

завтраки, которые одно время устраивались в этом же актовом зале на большой перемене. Мама в белых передниках ходила между столиками, мы ели булочки, пили какао, нельзя было капнуть на скатерть, и многие, в том числе и я, давились, потому что не любили какао.

Теперь родители, среди которых были гласные городской думы, сидели в первых рядах, нарядные, торжественные, а некоторые сдержанно-грустные -быть может, жалели, что революцию, как горячие завтраки, нельзя отменить.

Отец Марины Барсуковой, прихрамывая, поднялся на кафедру, и его выслушали с уважением. Он сказал, что мы напоминаем ему стихотворение Некрасова:

Идет, гудет зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум...

И прибавил, что счастливые события, развернувшиеся с такой стремительностью, не исключают трудностей в новом образе жизни и мышления.

Потом ввалились шумной толпой семинаристы, и всю благопристойность как ветром сдуло. Они не садились - да и не было мест. Лохматые, веселые, многие в высоких сапогах, они встали вдоль стен, в проходах, сели на окна.

Собрание было, как его называли бы теперь, организационное. В Петрограде уже существовал ОСУЗ - Общество учащихся средних учебных заведений. Такое же общество предполагалось в Пскове. Записывались накануне, теперь предстояло выбрать председателя, и директор предложил кадета выпускного класса князя Тархан-Моурави.

О, какой шум поднялся, едва он назвал это имя! Гимназисты издавна враждовали с кадетами, а для семинаристов, которые почти все успели записаться в эсеры, было вполне достаточно, что Тархан-Моурави - князь.

- К черту князя! Долой! Нам нужен демократ, а не князь!

Тархан-Моурави, красивый, смуглый, кавказского типа с сильными сросшимися бровями, с пробивающимися черными усами, долго стоял, пережидая шум.

- Волевой,- сказал за моей спиной Алька.

- Как известно,- дождавшись тишины, спокойно сказал Тархан-Моурави,-Кропоткин тоже был князем. Однако это не помешало ему стать вождем международного анархизма.

Родители зааплодировали - и действительно, это было сказано сильно. Но семинаристы закричали:

- То Кропоткин!

И снова поднялся сильный шум.

Слово взял Орест Ц., который тогда еще не выступал с

публичным докладом "Лев Толстой, Лев Шестов и я". Реалист-семиклассник, он заикался значительно сильнее, чем директор, так что некоторое время между ними происходил невнятный разговор, состоящий из одних междометий. Директор почему-то не давал Оресту слова. Семинаристы закричали:

- Дать!

Мы с Алькой тоже закричали: "Дать!" Но в это время подошел Емоция и ехидно спросил:

- А вы что здесь делаете, господа?

- То же самое, что и вы,- дерзко пробормотал Алька.

- Здесь имеет место разрешенное начальством собрание старших классов, а пятые не принадлежат к числу таковых.

Я объяснил Емоции, что нельзя отстранять пятые классы от участия в общественной жизни, но он прошипел: "Извольте удалиться",- и пришлось уйти в самую интересную минуту: Орест убедительно доказывал, что мыслящие единицы независимо от принадлежности к учебному заведению уже примкнули или вскоре примкнут к враждующим политическим партиям,- следовательно, объединить их логически невозможно.

На лестнице мы с Алькой поссорились: я сказал, что чуть не убил Емоцию, а он возразил, что дело не в Емоции, а в том, что Валя К. видела, как нас выгоняли.

- А что, побоишься вернуться? - спросил он.

Это было глупо - идти прямо к тому месту, где стояла Валя, потому что Емоция по-прежнему прохаживался в двух шагах от нас. Она улыбнулась, увидев меня, и показала глазами на инспектора - с ужасом, но, может быть, и с восхищением.

Я подошел к ней, и мы поговорили. Согласен ли я с Орестом? Она тоже считает, что из псковского ОСУЗа ничего не получится.

- Шесть часов в воскресенье,- сказал инспектор, почти не разжимая рта, когда я, нарочно не торопясь, проходил мимо.

Это значило, что в воскресенье я должен отсидеть с восьмью до двух в пустом классе.

Емоция не записал меня в кондуит, не послал родителям "Извещение", и Алька рассмеялся, когда я все-таки пошел отсиживать свои шесть часов в воскресенье.

- Понимаю,- подмигнув, сказал он,- любовь требует жертв.

Я пожалел, что сторож Филипп запер меня в чужом классе. Мы переписывались с гимназистками, занимавшимися в первой смене, и я мог бы ответить Верочке Рубиной, которая сидела на одной парте со мной. В последнем письме она сообщила, что еще никого в своей жизни она не поставила на пьедестал. Верочка была дура.

...Первые строчки как бы оказались сами собой, еще дома,

когда я готовил себе бутерброд:

Над городом восходит лик туманный.

Какой печальный, безнадежный лик...

Утро было ясное, и не "туманный лик", а весеннее солнце вошло над городом, наполнив его светом, от которого все с каждой минутой становилось просторнее и трезвее - голоса, шум шагов, стук копыт по булыжной мостовой, отдаленный звон колоколов Троицкого собора. Звонари ударили в колокола, это значило, что архиерей уже выехал из дома. Валя была в соборе, на архиерейской службе.

Как я устал от этой жизни странной.

Быть может, навсегда поник.

Обо мне нельзя было сказать, что я "навсегда поник". Я был широкоплечий, рослый не по годам, ходил по-военному прямо и еще вчера сделал на параллельных брусьях трудное упражнение, которое мне долго не удавалось. Но почему-то трезвость, параллельные брусья, стук копыт не находили себе места в моей поэзии...

Нечего было надеяться, что Валя придет раньше половины второго. Я видел однажды, как у собора встречали архиерея. Все было черное - лакированная карета, величественный кучер, который высоко и свободно держал руки, вороные рысаки, горбившие шею, косившие налитыми кровью глазами.

И архиерей был весь в черной, в длинной до пят одежде с широкими рукавами, в камилавке, от которой тянулось, спускаясь на плечи, шелковое, аршин на пять-шесть, покрывало. Четверо служителей кинулись к карете, двое взрослых открыли дверь, выдвинули крыльцо, подхватили владыку под руки и повели в собор, два мальчика понесли за ним концы покрывала...

Половина двенадцатого. Алька, скотина, не пришел, и, прождав его еще полчаса, я завернул в бумагу пятак и бросил его проходившей мимо знакомой девочке, младшей сестре Любы Мознаим. Девочка принесла две сайки, я опустил нитку с грузилом, съел сайки и продолжал сочинять:

И я грустил о позабытой были,

Разгаданной не по моей вине.

А вот теперь меня навек забыли,

И я один в неведомой стране.

В ту пору я писал две-три строфы в день, хотелось мне этого или не хотелось. Дмитрий Цензор, которому я однажды осмелился прочитать свои стихи, сказал, что мне надо учиться. Я учился. Но надеялся я на другое: а вдруг мне удастся придумать одно-единственное, удивительное, ни на что не похожее слово, которое сразу поставит меня в один ряд с лучшими поэтами

мира? Мне хотелось, чтобы слава упала с неба, явилась, как Христос народу, постучала в дверь, вошла и сказала: "Я - слава".

Время остановилось и снова двинулось вперед, когда я увидел Валю. Она стояла, подняв милое, уже успевшее загореть лицо,- искала меня за слепыми окнами, отсвечивающими на солнце. Я спустил ей записку на нитке. В записке были стихи:

Люди молятся в храмах смиренно и свято.

Древним словом звучит перезвон.

Только мне, только мне не дано о Распятом

Помолиться на лики икон.

Она прочла записку, оглянулась по сторонам и написала несколько слов: "Увы, не дано и мне! Скучала ужасно". Мы поговорили знаками. Она показала на пальцах - девять. Это значило - в девять часов. Где? Она пожала плечами. Это значило: конечно, там же!

Мы встретились вечером на черной лестнице Летнего театра.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Не в силах сдержать радостного возбуждения, я, как волчок, вертелся перед гимназистками на катке у Поганкиных палат. По утрам, едва проснувшись, я в отчаянии боролся с мучительным чувством неудовлетворенного желания. После четырнадцати лет оно не оставляло меня, кажется, ни на минуту.

То, что произошло между Зоей и мной в Соборном саду, больше не повторилось - не потому, что было невозможно, а потому, что это было невозможно с ней, сказавшей "Изомнете жакетку", когда, задохнувшись, я положил руку на ее мягкую, страшную, женскую грудь. С Зоей, спокойно сравнившей меня - не в мою пользу - с братом Сашей. С Зоей, надолго заронившей в меня чувство страха и неуверенности перед новыми встречами, когда я, быть может, стал бы так же слепо, растерянно торопиться.

В нашей компании мальчики говорили о женщинах наивно и грубо.

Толя Р. однажды влетел в комнату с криком: "Я видел!" Он видел голую женщину на берегу Великой - это было событием.

Все чувствовали то, что чувствовал я, но мне казалось, что только я так неотвязно хочу, чтобы поскорее повторилось то, что произошло между мной и Зоей,- не один, а тысячу раз, и не с ней, а с другими.

Но это была лишь одна сторона постоянно терзавшего меня подавленного желания. Была и другая: я выдумывал отношения.

Мы встречались с Мариной Барсуковой у часовни св. Ольги и долго умно разговаривали - ждали удобной минуты, чтобы начать целоваться. Она была гладко причесана, волосок к волоску, в только что выглаженном платье, в пенсне, немного плоская - это меня огорчало. Мы целовались потому, что она была девочка, а я - мальчик, и потому, что на свиданьях было принято целоваться. Мы придумали эти свидания, эти разговоры, иногда интересные, потому что Марина читала больше, чем я. Но чаще - скучноватые, потому что ей нравилось поучать меня, и тогда она, в своем пенсне на тонкой золотой цепочке, становилась похожа на классную даму. Вскоре мы перестали встречаться.

...Я осмеливался только любоваться Женей Береговой, хорошенькой блондинкой, носившей модные шляпки, очень стройной, естественно вежливой и державшейся весело и

скромно. В ней чувствовалась сдержанность хорошего воспитания, она была не похожа на других барышень из нашей компании.

Отношения, о которых Женя и не подозревала, развивались сложно. После внезапного объяснения в любви, которое она, очевидно, выслушала бы с сочувственным удивлением, Женя должна была случайно встретить меня - побледневшего, молчаливого. У меня были круглые, вечно румяные щеки, но Саша говорил, что барышни пьют уксус, чтобы побледнеть, - и некоторым это удается.

Женя не могла не пожалеть меня, а от жалости до любви - только шаг. Каждый день она получала бы розу - об этом нетрудно было договориться в садоводстве Гуляева. В конце концов мы стали бы встречаться, тем более что она - это я знал - интересовалась моими стихами. Свидания сперва были бы редкие, потом - ежедневные. Возможно, что она стала бы ревновать меня, а я - доказывать, что ревность - низменное, пошлое чувство. Потом ссоры, взаимные упреки и, наконец, окончательный, бесповоротный разрыв.

Я не пил уксус - попробовал и не стал. Но для того чтобы покончить с этой затянувшейся историей, я написал Жене Береговой письмо.

"Прошу Вас,- написал я на матовой голубой бумаге, которую стащил у сестры,- не считать меня более в числе своих знакомых".

На другой день Люба Мознаим, подруга Жени, пришла ко мне объясняться. Я молчал. Мне хотелось казаться загадочным, сложным. Прямодушная Люба сказала, что я - дурак, и ушла.

2

Зимой четырнадцатого года, слоняясь по Сергиевской, я встретил Валю К., она спросила: "Холодно?" - и, улыбнувшись, прошла мимо. Даже и эта случайная встреча сама собой украсилась в воображении.

Летом семнадцатого компания гимназистов и гимназисток на двух лодках отправилась ловить ужей на Снятную гору. Я был самым младшим в этой компании, Валя - самой старшей. У нас были общие друзья. С одним из них - Толей Р. - Валя еще до революции познакомилась в подпольном кружке.

Весь день мы провели на Снятной - наговорились, наохотались, варили уху, пекли в золе картошку, а когда стемнело, долго сидели у костра. Ужи были никому не нужны, и

никто не стал их ловить. Вдруг решили купаться, и мы с Вале́й, не сговариваясь, поплыли вдоль лунной голубой полосы, которая просторно легла поперек Великой. За день мы не сказали друг другу ни слова и теперь плыли молча, точно стараясь сберечь тишину, которая шла от реки, от подступавшей ночи. Нас звали, кто-то сердился. Мы вернулись не вытираясь и, освеженные, даже немного продрогшие, дружно взялись за весла.

...Из деревни на правом берегу, недалеко от Снятной, слышались голоса, пенье, игра на гармошке; темные фигуры бродили у самой реки. Мы пристали, хотя давно пора было возвращаться домой. В деревне гуляли. Одна изба была ярко освещена, через открытые окна виднелись топтавшиеся в тесноте девки и парни. Там шли посиделки. Кто-то из нашей компании остался в лодках, другие нерешительно остановились недалеко от избы, а мы с Вале́й вошли и, неловко протиснувшись, смешались с толпой, стоявшей у выхода в сени.

- Вы когда-нибудь были на посиделках? - спросила меня Валя.

- Нет.

- А я была. И очень люблю.

Гармонист играл не останавливаясь, девки хихикали по углам. Парень, одетый по-городскому, в пиджаке, из-под которого выглядывала неподпоясанная голубая рубаша, подлетел к Вале, раскинул руки. И она, поклонившись, сразу же плавно пошла за ним в маленьком тесном кругу, с платочком, серьезная, как другие девки.

Потом мы ушли и немного побродили вдоль берега. После душевной избы дышалось легко, но внутри у меня не унималась какая-то дрожь, и хотелось сейчас же, не теряя ни одной минуты, сделать что-нибудь хорошее или хоть показаться вежливым и приятным. Спускаясь к лодкам, мы встретили двух девок, и я показал им избу, в которой шли посиделки:

- Идите туда. Там весело, танцуют.

Девки засмеялись. Одна из них была дочка старосты и жила в этой избе. Чувство неловкости, когда они засмеялись, было особенно острым, потому что рядом стояла Валя.

Когда мы возвращались и были уже недалеко от города, я вынул портсигар и, небрежно щелкнув им, закурил. Портсигар был новый, томпаковый. Мать знала, что я курю тайком, и демонстративно подарила мне его в день рождения.

- Зачем вы курите?-опросила Валя.-Ведь вам не хочется.

Я докурил и бросил портсигар в воду.

Так же, как это было с Мариной и Женей, я вообразил, что влюбился в Валью К. Но что-то совсем другое сразу же появилось между нами, и это другое заключалось в том, что ей не только не могло прийти в голову, что я не влюблен, а "как бы" влюблен, но она была бы глубоко оскорблена, догадавшись об этом.

Мы встречались в Соборном саду, у Покровской башни, мы гуляли подолгу, часами, и это "как бы" незаметно растаяло, отступило перед серьезностью Вали, перед ее искренностью, твердостью и покоем.

Может быть, она была и не очень хороша, но мне нравился ее смуглый румянец, чуть выдававшиеся скулы, небольшой четко очерченный рот, ровные белые зубы. В те годы гимназисток, особенно мариинок, учили ходить плавно, держаться прямо - и в ней была особенно заметна эта плавность походки, прямота откинутых плеч.

Она была нелегкомысленна, участлива, признательна, и мне сразу же захотелось стать таким же, как она. Мы не только влюбились, мы - это было гораздо важнее - привязались друг к другу.

В гимназии отменили латынь, псковские гимназисты и реалисты раскололись на правых и левых, начались выборы в Учредительное собрание, и Остолопов оказался трудовиком, а Ляпунов - кадетом, город Кирсанов изгнал представителей Временного правительства и объявил себя автономной республикой.

Но что бы ни случалось в Пскове, в России, в мире, мы с Валею встречались почти ежедневно: иногда - у нее, а иногда - на черной лестнице дощатого Летнего театра после спектакля.

В маленькое кривое окошко светила луна. Легкие декорации стояли вдоль стен, точно спускаясь по ступеням в сад, где на аллеях лежали тонкие тени листьев и веток. Это был сад, где мы с Сашей степенно гуляли в красных фесках (почему-то дети носили тогда красные турецкие фески), где мой отец по воскресеньям дирижировал своей музыкантской командой, где актер Салтыков, еще молодой, в панаме, ухаживал за нянькой Натальей. Но теперь этот сад казался мне таинственным, незнакомым. Кусты жасмина как будто кружились над землей. На аллеях, на серебристой раковине эстрады лежали тени маленьких листьев и веток. Было страшно, что сейчас появится сторож, и, когда он действительно появлялся, мы, волнуясь, поднимались еще выше по лестнице, прятались в тень.

Мы целовались - о, совсем не так, как с Мариной! Валя расстегивала кофточку, я целовал ее грудь, и, хотя был так же нетерпелив, как с другими, она умела, оставаясь нежной,

У Вали не было чувства юмора, это огорчало меня. Однажды я читал ей Козьму Пруткова. Она слушала внимательно, подняв красивые глаза, но стала смеяться, лишь когда я объяснил ей, что это смешно.

Она была убеждена, что к чтению надо готовиться, и книга долго лежала у нее на столе, прежде чем она за нее принималась. Все время, пока я был влюблен в нее, она готовилась прочитать толстую книгу "Библия и Вавилон". В конце концов, садясь у ее ног на полу, я стал подкладывать под себя эту книгу.

К-ны жили на Застенной, напротив Летнего сада, на втором этаже, в светлой квартире с вышитыми накидками на высоких подушках, с ковриками у диванов, с кружевными дорожками на столах. Все это было рукодельем Валиной мамы. Отец служил в льняной конторе. Он был сухощавый, со светлой бородкой, всегда что-то мурлыкавший про себя, незаметный. Однажды он вошел, когда мы целовались. Он сказал только: "А, Валя, ты здесь?"-и вышел, смутившись больше, чем мы.

Каждый день мы бродили по городу, но не по главным улицам, а вдоль крепостных стен, по берегам Псковы и Великой. В полуобвалившихся башнях еще сохранились бойницы. Большое, похожее на железное коромысло было висело на крюке в Соборном саду. По нему ударяли палкой, созывая вече. Гуляя с Вале́й, я впервые заметил, в каком старом городе мы живем.

Я знал наперечет все ее платья. Страстный велосипедист, я предложил ей кататься вместе - старшая сестра подарила ей свой велосипед. Она попробовала - и раздумала: ветер раздувал юбку, и открывались ноги. Тогда перестал в то лето кататься и я.

Мы говорили о любви, и Валя утверждала, что любовь без детей безнравственна. Я нехотя соглашался.

- Раз в месяц природа напоминает женщине, что она может стать матерью,- поучительно сказала она однажды.

Она считала, что мне необходимо освободиться от самоуверенности, которая мне очень вредит. Было верно и это. Но

как? И мы приходили к выводу, что помочь может только дисциплина духа.

- Впрочем, ума моего спутника мне совершенно достаточно, - сказала она в другой раз, когда мы бродили по Немецкому кладбищу и спорили о том, что важнее - ум или чувство.

Почти всегда она была серьезна и становилась еще серьезнее, когда мы целовались. А в эту запомнившуюся минуту румянец пробился сквозь загар, и она посмотрела на меня засмеявшимися глазами.

6

Двадцать пятого июня ДОУ (Демократическое общество учащихся) решило устроить гулянье и спектакль в Летнем саду, и мы с Валеј немного раскисались, что удрали от хлопот, которыми была занята наша компания. Встреча была условлена на пристани в семь утра просто потому, что еще никто, кажется, не назначал свидание так рано. Великая слабо дымилась. Видно было, как на той стороне от Мирожского монастыря отвалил баркас, а в этой бабы с корзинками стали спускаться к перевозу. Пароходик попыхивал и вдруг дал свисток.

Удирая, я стащил две французские булки и теперь рассказал Вале - почему-то два раза подряд, - как мама сонным голосом спросила: "Кто там?" - а я притаился и не ответил. Валя смеялась. Она пришла в моем любимом маркизетовом платье с оборочками и короткими рукавами. Мы оба не успели позавтракать и съели булки на пристани всухомятку.

Было решено доехать на пароходе до Черехи, а потом пойти куда глаза глядят, - и все время, пока пароходик шел по Великой, меня не оставляло чувство свежести и новизны, которое - я это знал - испытывала и Валя. Как будто это было первое утро на земле - так весело шлепали лопасти колес, с которых, сверкая, скатывалась вода, так торопился вместе с нами шумно пыхтевший пароходик.

Хотелось поскорее пуститься в дорогу, мы чуть не сошли в Кoryтове. Но передумали, доехали до Черехи и сразу быстро пошли по пыльному большаку, изрезанному колеями. Потом свернули, пошли проселком, снова свернули...

О, как легко дышалось, как хорошо было долго идти среди золотисто-зеленой ржи!

Кончилась пашня, начался лес, еловый, сосновый, с песчаным сухим подлеском и редкими пепельно-серыми мхами. Мы шли,

болтая, и вдруг наткнулись на знакомое место: час или два тому назад мы уже были на этой поляне с одинокой флаговой сосной. Заколдованный лес! И мы пошли, никуда не сворачивая, прямо и прямо.

В первой же попавшейся деревне мы зашли в крайнюю избу, и пожилая крестьянка с добрым лицом встретила нас, как жениха и невесту. Она сварила нам пшеничную кашу на молоке, пышную, рассыпчатую, душистую, и на всю жизнь запомнилась мне зарумянившаяся корочка, которую мы с Валею разделили пополам.

Хозяйка сказала, что до Пскова верст восемнадцать, и мы удивились, что зашли так далеко. На пароход было уже мало надежды. Что делать? Возвращаться пешком? Домой мы добрались бы только к утру. Попало бы, без сомнения, но это еще полбеды. Мы не знали дороги, а если идти вдоль Великой, сказала хозяйка, набегит не восемнадцать верст, а все двадцать пять. Заночевать?

И, точно угадав наши мысли, она предложила нам заночевать, а когда мы согласились, повела в чистую половину, где стояла кровать, покрытая ватным одеялом из разноцветных лоскутков, высокая, с горой подушек. Она и думать не думала, что мы ляжем врозь. Мы растерянно помолчали, не глядя друг на друга, поблагодарили и отказались: может быть, еще успеем на пароход. Я хотел заплатить - хозяйка с обидой замахала руками. Мы простились, не глядя друг на друга, молча прошли деревню и стали хохотать - долго, неудержимо.

Так и прохохотали почти до пристани, когда хлынул с веселым шумом проливной, заблестевший в сумерках дождь. Валя сняла туфли, связала их шнурками, перекинула через плечо. Дорога вскоре размокла, я поскользнулся и чуть не упал. Валя поддержала меня, и впервые за весь этот день мы остановились и прижались друг к другу. Под ее платьем, мигом промокшим до нитки, я остро и обнаженно почувствовал ее грудь, ноги, ее сильные, обнявшие меня руки. Дождь хлестал, как бешеный, и попадал даже в рот, когда мы отрывались друг от друга, чтобы перевести дыхание.

Услышали гудок, припустились и, прыгнув с причала на отходивший пароход, почти свалились на палубу, мокрые, грязные, счастливые, с онемевшими ногами.

Валя была на четыре года старше меня; в ту пору я не понимал, как сильно сказалась в наших отношениях эта разница лет. Я кидался из стороны в сторону, летел опрометью, все так и трепетало во мне. Характер складывался неровный, вспыльчивый, противоречивый. Самоуверенность соединялась с застенчивостью, педантическое упорство - с ожиданием чуда.

Театр заставил меня впервые задуматься над понятиями "быть" и "казаться". В "Бесприданнице" Островского Лариса, которую только что застрелил Карандышев, через две-три минуты выходила на сцену, улыбаясь, раскланиваясь и прижимая к груди цветы. Она была уже не Лариса. Она только казалась Ларисой.

Впоследствии я привык к этому раздвоению, беспощадно разрушавшему то, что минуту назад заставляло зрителей волноваться, возмущаться, плакать. Ведь актер на то и существовал, чтобы не быть, а казаться! Но чувство неловкости, разочарования все-таки осталось надолго.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах я в самом себе встретился с этим раздвоением.

Что заставляло меня повторять чужие мысли, выдавая их за свои? Что заставляло меня тянуться, выставляться перед одноклассниками, перед Алькой, который доверчиво слушал все, что я врал ему о книгах, знакомых мне лишь понаслышке? Небось в нашей компании меня мигом осадил бы Толя Р., который читал вдвое больше, чем я, или скептический Орест Ц. О девочках нечего и говорить! Перед ними я не тянулся, а выламывался. Болтал беспорядочно много, старался показаться иронически-недоступным, неудачно острил и, оставаясь наедине с собой, недолго корил себя за хвастовство, за неудачную остроу. Меня интересовало не то, что я думаю о себе, а то, что думают обо мне другие.

Чувствовала ли все это Валя? Понимала ли то, о чем я и теперь еще лишь догадываюсь, пытаюсь собрать рассыпавшиеся воспоминания? Нет. Она просто оставалась сама собой, и этого было достаточно, чтобы понять, что лететь опрометью - смешно, а кидаться из стороны в сторону - бесполезно. В ней было спокойствие обыкновенности, которого мне так не хватало. Это спокойствие было и в квартире К., и в рукоделии Валиной мамы, и в отношениях между родителями - красивыми добрыми людьми, которые очень любили друг друга.

Так же как и я, Валя не стояла на месте - особенно летом семнадцатого года. Но она не рвалась, а плыла. В ней была поэзия спокойной трезвости, женственности, уюта. Она любила детей, хотела стать учительницей, да уже и стала, окончив восьмой, педагогический класс Мариинской гимназии.

Мне нравилось уважение, с которым она относилась к моей начитанности, к моим стихам,- она переписала их в две школьные, сохранившиеся у меня до сих пор тетради. Это было уважение, которое незаметно вело к самоуважению, а самоуважение заставляло вглядываться в себя, оценивать себя беспристрастно.

Перед Вале́й мне было стыдно притворяться - ведь в самом желании, чтобы она принадлежала мне, не могло быть и тени притворства. И, встречаясь с ней, я искренне старался быть - а не казаться. Она как бы приучала меня к самому себе - и, встречаясь с ней, я, с бешено стучавшим сердцем, становился спокойнее, увереннее, скромнее.

Помнится, весной 1917 года был большой паводок. Великая разлилась широко, подступив к стенам Мирожского монастыря, а на берегу Псковы, у решеток, были затоплены дома. Но если я даже и ошибаюсь, все же самое понятие наводнения удивительно подходило к тому, что началось в апреле и мае 1917 года.

Слова, которые в течение многих лет прятались, произносились шепотом, с оглядкой, вдруг со всего размаха кинулись в город - и среди них очень скоро появились новые, странные на первый взгляд,- митинг, исполком, совдеп. Каждый мог говорить все, что ему вздумается,- это было особенно ново. Терпеливо слушали даже тех ораторов, которые выступали, просто чтобы показать себя и тем самым утвердить свое право на существование. Но одни слова оставались словами, а другие с нарастающей быстротой превращались в дело...

То, что еще до революции заставляло меня мысленно делить класс пополам, теперь распространилось не только на весь город, но, судя по газетам, на всю Россию.

Это стало ясно уже на первом собрании, когда директор предложил выбрать председателем общества учащихся князя Тархан-Моурави. С другого собрания мы ушли с пением "Варшавянки". Толя с воодушевлением дирижировал нами. Мы пели с чувством восторга и нависшей над головой опасности, хотя нам никто не угрожал и нечем было, кажется, восторгаться.

Так возникло ДОУ. Мы выбрали председателя - тоже Толю - и, не теряя времени, стали собирать деньги на витрину для объявлений. Помню, что столяр долго возился с этой витриной и что самые нетерпеливые из нас часто спрашивали друг у друга, когда же наконец она будет готова. Наконец она появилась - темно-красная, с маленьким карнизом от дождя.

Вражда вспыхнула острая, нешуточная и сразу же стала укрепляться, развиваться. Уже не казалось странным (как это было сначала), что можно ненавидеть такого-то за то, что он думает иначе, чем ты. "Да, можно и должно,- сказал мне однажды

Толя,- конечно, в том случае, когда спор идет не о пьесе "Соколы и вороны", а о судьбе России". Но кадетов ненавидели не только за то, что они думали о судьбе России иначе, чем мы, но и за то, что они каждое утро маршировали на своем плацу, как будто ничего не случилось. Толя был неправ - ненависть таинственно захватывала и то, что не имело к политике никакого отношения.

Военный строй входил в программу кадетского корпуса и был так же обязателен для них, как для гимназистов - латынь. Впрочем, латынь отменили еще до конца учебного года, и я был, кажется, единственный из гимназистов, который выступил на общем собрании двух пятых классов с энергичной защитой этого предмета.

Помню, что Борода, который все еще был нашим классным наставником, вошел в класс, когда собрание было в разгаре, и, устроившись на задней парте, выслушал мою речь. На другой день он вызвал меня и сказал: "Посмотрим, как некоторые ораторы на практике осуществляют свои теоретические взгляды". Он поставил мне тогда пятерку, хотя, отвечая Цицерона, я сделал две или три ошибки. Это значило, что и в году у меня будет пятерка по латыни - честь, которой удостаивались до сих пор только поляки.

На другой день Алька, который нехотя соглашался со мной, что латынь нужна или, по крайней мере, бесполезна (он собирался на медицинский), сказал, что пятый "а" собирается устроить мне "темную", потому что я - "ханжа и подлиза".

У нас почему-то не было последнего урока, но я остался - решил явиться в пятый "а" и потребовать объяснения.

Почему с такой остротой запомнилась мне эта, в сущности, незначительная история? Потому что впервые в жизни я был оклеветан? Или потому, что в ней были черты, тогда еще не разгаданные и впоследствии заставлявшие меня мысленно к ней возвращаться?

Алька не ушел, хотя я уверял его, что не боюсь,- и действительно не боялся. Он остался со мной, справедливо рассудив, что хотя мне едва ли устроят "темную", но фонарей могут наставить - и немало.

Мы влетели, едва прозвучал звонок, почти столкнувшись с преподавателем (кажется, это был Остолопов). Я вскочил на кафедру, а перед, кафедрой встал Алька, крепко сжав кулаки и расставив сильные ноги.

...Мы выбрали неудачную минуту - все собирали учебники, торопились домой,- и свести счета с клеветниками не удалось. Я начал горячо, меня послушали минуты две-три, а потом стали выходить из класса.

Только Д., высокий белокурый мальчик с длинным холодным лицом, аккуратно складывая книги и затягивая их ремешком, отпустил по моему адресу язвительное, но такое же вялое, как он сам, замечание. Я не сомневался в том, что именно он назвал меня "ханжой и подлизой"

Пожалуй, он мог предложить и "темную", однако, если бы меня избили под шинелями, сам остался бы в стороне, ловко выскользнув из небезопасной затеи.

3

Гулянье, которое ДОУ устроило в Летнем саду, прошло с успехом, в пьесе "Нищие духом" Невежина выступил известный артист Горев, и всем понравился дивертисмент с лотереей-аллегри и "цыганским шатром", в котором наши барышни, одетые цыганками, гадали на картах и предсказывали судьбу по линиям рук. Не помню, много ли удалось выручить "для кассы взаимопомощи", но теперь мы могли снять помещение - и немедленно сняли пустовавшую лавку напротив колбасной Молчанова.

Собраний было много, и припомнить, чему они были посвящены, невозможно. Но о чем бы мы ни говорили, в каждом серьезном выступлении чувствовалось желание участвовать в обсуждении того господствующего вопроса, который решался тогда на всем пространстве России, на фронтах и в тылу: как и зачем жить и как открыть возможность нового - достойного и разумного существования?

В "Псковской жизни" появилась статья "Гибель революции": "Но вот прошли три месяца, и мы с ужасом и недоумением убеждаемся в том, что вся революция пропитана ядовитыми соками охлократии, демагогии, глупости и бездарности. Надоело говорить о том, что невероятный произвол, грубейшее насилие, система террора, господствующая сейчас в России, не могут внушить ничего, кроме ужаса и отвращения".

Это было нападение справа, и наши правые, во главе с князем Тархан-Моурави, немедленно поддержали статью.

О, какой шум поднялся в нашем ДОУ! С какой неотразимой убедительностью опрокидывали мы наших противников на обе лопатки! Как язвительно высмеивали нытиков, испугавшихся "охлократии". Что такое "охлократия"? Выродившаяся демократия! А наша демократия искренне и энергично занята поисками новых форм своего существования.

Правые трубили свое: каждый день появляются новые республики, солдаты устраивают самосуды, на Галицийском фронте повальное бегство. Это ли не охлократия?

Мы единодушно сетовали, что заказали слишком маленькую витрину. Она не вмещала и пятой доли наших возражений. И вдруг она опустела. Вместо статей, карикатур и фельетонов на ней появилось постановление общего собрания ДОУ: мы объявили правым бойкот.

Но большому бойкоту предшествовал маленький. Я объявил бойкот брату Саше.

4

У Саши был оригинальный характер, который в те годы я не мог понять, потому что думал, что это сложный характер. Он огорчался, когда у него были неприятности, но скоро забывал о них и даже с трудом мог припомнить. Он постоянно стремился к какой-нибудь цели. То добывая гремучую смесь в чулане, который мама отвела ему под лестницей, то сочинял "Лунную сонату". Он считал, что у Бетховена своя "Лунная соната", а у него - своя, и еще неизвестно, которая лучше.

Но гимназистки интересовали его больше, чем музыка. Он шутил, болтал с ними, и все у него получалось просто и ловко. Только однажды - это было весной 1917 года - он серьезно расплатился за свою легкость и ловкость. Три семиклассника из класса "а" (он учился в классе "б") вызвали его с урока, влепили пощечину и ушли.

Наша схватка с правыми была в разгаре, когда я встретил его на Сергиевской с Леночкой Халезовой, которая откровенно сочувствовала Милюкову. Возможно, что я не обратил бы на это внимания, но Леночка принадлежала к Тархан-Моурави - фондер-белленской компании, возглавлявшей правых, и ухаживать за ней было, с моей точки зрения, подлостью.

Я попытался объяснить это Саше, но он поднял меня на смех, а потом стал доказывать, что политические взгляды в данном случае не имеют значения. Отнюдь не все должны иметь убеждения, некоторые могут прекрасно обойтись и без них. Но он как раз не может. Он думает, что за хорошенькими гимназистками надо ухаживать, даже если они сочувствуют самому Вельзевулу. Это был беспринципный ответ, и, посоветовавшись с Толей Р., я объявил Саше бойкот.

Мы жили в одной комнате, и делать вид, что я не замечаю

его, было довольно трудно. Но я был непоколебим. Вовка Гей пришел, когда мы ссорились. Сгоряча я объявил бойкот и ему, потому что он заговорил с Сашей. Старшие братья Вовки были большевиками, одна из сестер - меньшевичка, вторая - эсерка, а отец крайний правый, так что у себя дома Вовка, очевидно, не раз встречался с отношениями, сложившимися между мной и Сашей. Тем не менее он отказался поддержать меня. Он сказал, что вопрос имеет принципиальное значение, и предложил устроить товарищеский суд.

Суд должен был состояться у Шурочки Вогау, и Валя сразу сказала, что ничего не выйдет, потому что у Вогау все собрания кончаются танцами или загадками в лицах.

Когда я пришел, было уже шумно, весело; в гостиной стоял настоящий судейский стол, покрытый зеленой скатертью, и среди незнакомых студентов и офицеров я заметил того невысокого, беленького, который в Черняковицах чуть не подрался со Львом. Он и теперь был со стеклом и похлопывал им, сидя в кресле и иронически усмехаясь. Потом он показывал - в стекле был спрятан длинный узкий стилет, который можно было выдернуть, как шпагу из ножен.

Впервые я был в такой богатой, просторной квартире. Комнат было много, у Шурочки своя, с диваном и креслами, покрытыми белым шелком. В гостиной стоял белый рояль, а рядом с ним, прямо на полу, высокая лампа под нарядным абажуром. Мне казалось, что все эти вещи поставлены здесь как бы нарочно, а не для того, чтобы жить среди них. На одной из картин была нарисована голая женщина, в которой не было ничего особенного, кроме того, что она была совершенно голая. Эта картина мешала мне, потому что все время хотелось на нее смотреть.

Все говорили разом, смеялись и умолкли, только когда студент Распутин, который, представляясь, неизменно объяснял, что к Григорию Распутину он не имеет отношения, взял слово. Он считал, что необходимо выяснить причину нашей ссоры, в которую не следовало бы вмешиваться, потому что она началась между братьями и характерна как семейная ссора, не подлежащая товарищескому суду. При этом он вертел носом, откидывал назад длинную шевелюру, и у него был добрый, озабоченный вид.

Председатель, прапорщик Сосионков, то и депо стучал карандашом по столу. Он был розовый, лет девятнадцати, с шершавыми детскими щечками. Впоследствии, обсуждая в нашей компании этот суд, мы называли его не Сосионков, а Поросенков.

Прапорщик сказал, что теперь, когда трехсотлетняя империя Романовых отжила свой век, политические партии надо запретить

до полной победы. Потом он предоставил слово Саше, который заявил, что он лично принадлежит к партии независимых, которой в России еще нет, но зато она играет заметную роль в Западной Европе. Как представитель этой партии, он считает, что в Пскове надо организовать лигу свободной любви. Любовь есть частное дело каждого гражданина и должна охраняться специальной хартией - вроде Великой хартии вольностей, ограничившей в 1215 году английскую королевскую власть в пользу баронов.

Леночка выступила последней, и, слушая ее, я подумал, что Саша, может быть, прав - с таким беленьким, круглым личиком, с такими синими глазами, с такими локонами, прикрывавшими розовые уши, можно было, на худой конец, обойтись без убеждений. Она говорила горячо, но обращалась почему-то исключительно к прапорщику Сосионкову, который розовел все больше, моргая и надуваясь, так что постепенно для меня стало ясно, что Саша прогорел, несмотря на всю свою беспринципность.

В общем, из суда ничего не вышло. Позвали ужинать. Стол был длинный, не составленный из нескольких, как это делали у нас, когда было много гостей. У каждого прибора лежало несколько вилок и хорошенький овальный ножик, с которым я не знал, что делать.

5

Семинаристы крепко схватились где-то за городом с кадетами, и, хотя дело обошлось без крови, бойкот вспыхнул и развернулся, прихватив коммерческое училище, до сих пор не принимавшее участия в наших схватках.

Не знаю, кому пришло в голову пригласить в Псков представителей ОСУЗа. Они приехали вдвоем - черненький сухощавый Шершневы и Лев Успенский из гимназии Мая, поразивший своей внешностью не только гимназисток. Будущий известный писатель и лексиколог, он и в самом деле напоминал вежливо-добродушного льва. Он был очень высок, красив и постоличному свободен в обращении.

С Шершневым я разговорился, гуляя по Сергиевской после собрания. Оказалось, что он тоже любит стихи. Он первый обратил мое внимание на то, как Бунин тонко чувствует все оттенки цвета,

В мураве колеи утопают,
А за ними с обеих сторон,

В сизых ржах васильки зацветают,

Бирюзовый виднеется лен,-

процитировал он. Он не выступал на собрании. Зато Успенский произнес длинную блестящую речь. Кратко рассказав историю ОСУЗа, он упомянул о незначительном, с его точки зрения, но характерном примере: в первые послереволюционные дни гимназисты общими силами быстро разобрали почту, залежавшуюся в отделениях. Да, и у них, в Петрограде, между учащимися были политические столкновения. Однако после общегородского митинга, на котором присутствовал французский министр-социалист Альбер Тома и с большой речью выступил Керенский, удалось достигнуть равновесия. Каждый из нас может исповедовать любые политические взгляды. Это - завоевание революции, ее оружие, ее сила. Но этим оружием надо пользоваться без угроз и оскорблений. От имени Управы ОСУЗа он, Успенский, просит товарищей псковичей, жителей древнего города вольности, вспомнить, что пройдет год или два, и мы, взрослые люди, окажемся перед лицом всенародных задач.

Он говорил искренне, с увлечением. Но оттенок снисходительности померещился мне в его убедительной речи. Я слушал, и мне казалось, что в Петрограде все умеют выступать так же свободно и дельно, в то время как мы - самые обыкновенные провинциальные мальчишки и девочки, поспорившие между собой без всякой причины.

Едва Успенский кончил речь, Толя ринулся на кафедру, лохматый, с впалыми, сизыми щеками, узкоплечий и вдохновенный.

Да, сказал он, оратор прав. Каждый из нас имеет право свободно выражать свои взгляды. Но швырять на ветер энергию, которая нужна новой России? Нет! Пора покончить с бесчисленными нападками друг на друга. От имени ДОУ он протягивает бывшим противникам руку.

И широким движением он протянул руку в ту сторону, где сидели правые,-зал, естественно, раскололся в самом начале собрания. Наступило молчание. Рука повисла в воздухе. Никто не ждал от нашего председателя такого решительного шага. Наконец один из правых подбежал к кафедре и пожал руку. Раздались слабые аплодисменты, и Толя покинул кафедру, встретив каменные лица своих товарищей, справедливо считавших, что он мог выступить с подобной речью от своего имени, а не от имени ДОУ.

На другой день мы выбрали другого председателя, Хилкова, о котором говорили, что такого умного и развитого гимназиста не было в Псковской гимназии со времени ее основания. Он мало

говорил, пожимал узкими плечиками и действительно очень умно улыбался. Фамилия вполне соответствовала его чахлому сложению. Он хотел стать купцом, а когда я с удивлением спросил его: "Почему?" - он ответил: "Хорошая профессия. Можно много читать и ничего не делать". Осузовцы уехали, а на другой день семинаристы снова схватились с кадетами - открыто, у Летнего сада. Если бы не вмешались милиционеры, дело кончилось бы плохо: хотя палаши полагались только при парадной форме, кадеты не снимали их, а некоторые ходили с ножами.

6

Друзья, о которых я мог бы написать с наглядной полнотой, лишь промелькнули на этих страницах. В каждом из них было нечто иносказательное, нуждавшееся в разгадке. Характеры еще далеко не сложились, интересы бродили ощупью, фантастическое настоящее быстро становилось будничным, привычным, будущее казалось необозримым плацдармом энергии, доверия и счастья.

Споры были не только политические, не только на собраниях и заседаниях. В нашей компании схватывались часто и надолго, горячо и серьезно. О чем же мы спорили?

Что такое внутренняя свобода? Не политическая, дарованная нам навсегда, - в этом никто не сомневался. Нет, нравственная, свобода души, которая делает человека неуязвимым, бесстрашным.

Кто внутренне свободнее - Пьер Безухов во французском плену или Платон Каратаев с его языческой готовностью подчиняться Року?

Герой и толпа. Человечество ползет на четвереньках. Имеет ли право сильный человек взять в руки бич, чтобы подстегнуть отстающих?

Что такое любовь? Безотчетное предпочтение кого-то кому-то? И только?

Споры то шли напролом, то уходили в сторону - по меньшей мере, в сторону от меня, потому что я быстро уставал от них и обрывал, не соглашаясь.

Керенский, выступая перед солдатами, покинувшими позиции, спросил: "Кто передо мною - свободные граждане или взбунтовавшиеся рабы?" - и навстречу нам двинулась необходимость оценить настоящее с исторической точки зрения. Здесь вспомнились и сотни лет крепостного права, и контраст

между Древней Русью, захваченной татарами, и республиканскими островками Новгорода и Пскова.

Кто-то процитировал ибсеновского доктора Штокмана: "Самый опасный враг истины и свободы - это соединенное свободное большинство",- и я как будто вновь услышал голоса, доносившиеся из комнаты старшего брата. Голоса были негромкие, ночные. Отец сердился, что гимназисты засиживаются допоздна и не дают ему спать.

7

Омский полк стоял на острове Даго, и отец написал, чтобы мальчики приехали к нему, потому что "здесь такая сметана, что ее можно резать ножом". Почему-то среди других достоинств острова мне запомнилась именно эта сметана.

Решено было, что на Даго мы поедем вдвоем - я и Саша. Но в последнюю минуту он передумал. Выбирая между химией и музыкой, он окончательно остановился на музыке. Как Рахманинов, он мог взять одиннадцать нот. Композитор должен стать виртуозом, чтобы публика могла понять его произведения. Он решил "переставить руку", как советовал дядя Лев Григорьевич, и мама наняла для Саши дорогого преподавателя - Штегмана, получавшего полтора рубля за урок. Кроме того, Саше не хотелось на Даго, потому что там, очевидно, не было гимназисток.

Я плохо помню свои впечатления, хотя впервые отправился в такое далекое путешествие по железной дороге.

Помню только, что обычная самонадеянность сразу же оставила меня, едва я оказался в купе, среди незнакомых людей, которым не было до меня никакого дела. Ни с кем не заговаривая и неохотно, угрюмо отвечая на вопросы, я сидел и все поглядывал на свой чемоданчик, боялся, что его украдут. Ночью я спал, положив на него голову, а проснувшись, решил, что у меня кривошея: хотя я мог повернуть голову, но с трудом.

Отец встретил меня в Балтийском порту. Мы не виделись больше двух лет. Он обрадовался, сказал, что я очень вырос. Мы поцеловались и сперва заговорили оживленно, но скоро замолчали.

Вдруг я понял, что мы почти никогда не разговаривали, что он почти ничего не знает обо мне, а я - о нем. В этой брочке с извозчиком-евреем, кучерявым, курносым, в белом балахоне и картузе, надвинутом по самые уши, мы впервые были вдвоем, и

оказалось, что мне нечего даже рассказать ему, кроме того, что он и без меня знал из маминых писем. Но я все-таки сразу же стал искусственно рассказывать что-то, стараясь не упоминать Льва, о котором отец не хотел и слышать. Отец похудел, потемнел, в усах стала заметна седина, может быть потому, что он перестал их фабрить.

Мне показалось, что он расстроен, растерян. Потом я понял причину этой растерянности: он не понимал, что творится в армии, которой был так долго и бескорыстно предан.

Полк стоял в богатом имении. Мы проехали большой прекрасный парк, в котором были раскинута палатки и стояли пирамиды винтовок с примкнутыми штыками. Хозяйственные постройки, крытые черепицей и сложенные из огромных валунов, были удивительно не похожи на русские риги и амбары. Потом открылся за просторной ровно-зеленой лужайкой большой старинный буро-коричневый дом с двумя коническими башнями над правым и левым крылом, с высокими овальными воротами, резными, из темного дуба. Ворота раскрылись, и мы въехали в квадратный, мощный плитам двор.

Это был замок какого-то барона - не помню фамилии,- и мне показалось, что из двадцатого века я шагнул прямо в семнадцатый или восемнадцатый, когда отец провел меня в темноватую прохладную гостиную и показал диван, где уже были приготовлены для меня простыни и одеяло. Никогда прежде я не видел таких тяжелых - не сдвинешь с места - кресел, украшенных бронзой, таких ковров, мягких, ворсистых, и совсем других - шелковых, гладких, нежных. На стенах были не обои, а тоже ковры - тогда я не знал, что они называются гобеленами,- и на этих огромных коврах были изображены сцены: охота, свадьба, прогулка в лесу.

Я устал от дороги, но долго не ложился - все расхаживал и рассматривал эти кресла, ковры, диваны, а они как будто рассматривали меня - и недоброжелательно, с укором...

На Даго гостил еще один мальчик, тринадцатилетний сын командира полка. Отец хотел, чтобы я подружился с ним, но мы поговорили раза два и больше не встречались. Мальчик - хорошенький и отчаянный - интересовался только лошадьми и по целым дням пропадал на конюшне. Накануне моего отъезда он умчался на рысак без седла, был переполох, за ним поскакали, вернули, и я видел, как командир полка, высокий, бледный, с благородным лицом, подошел к нему и что-то с бешенством сказал по-французски. Мальчик выслушал, гордо подняв голову, коротко ответил, повернулся и ушел как ни в чем не бывало.

Совершенно другие, далекие от нашей семьи отношения

приоткрылись для меня в этой сцене. Мама вlepила бы мне затрещину, если бы я отмочил такую штуку, и была бы совершенно права.

Я давно заметил плотного юношу в охотничьей куртке, в толстых ботинках и гольфах, понурого, с умным, слегка одутловатым лицом. Его трудно было не заметить - он бродил вокруг и около, по парку, в котором стояли солдаты, по хозяйственному двору. В замке он появлялся неожиданно, то в одной комнате, то в другой. Вскоре я понял, что вся жизнь полка проникнута тайной враждой. Но он был далек и от этой вражды, он был чужим для всех, и это в особенности чувствовалось, когда он в одиночестве мерно, гулко шагал по каменным плитам двора. Казалось, он не находил себе места.

Я спросил о нем отца, и с уважением, понизив голос, отец сказал, что это Герберт, сын владельца замка.

- А владелец - барон?

- Не знаю. Очень богатые люди, очень. Родители уехали в Ревель, а он остался присмотреть за хозяйством.

Наше знакомство произошло неожиданно. В комнате, где я спал, висел на стене барометр, вставленный в деревянную, украшенную орнаментом круглую рамку. Уже самый крюк, на котором он висел, заинтересовал меня: крюк изображал змейку, высунувшую длинное жало. За колотым стеклом можно было рассмотреть устройство. На круге были обозначены определения погоды. Черная стрелка двигалась медленно, а золотую можно было передвигать рукой, сравнивая сегодняшнее давление с вчерашним.

Герберт вошел, когда я снимал барометр с крючка, чтобы разглядеть поближе - в комнате было полутемно. Без сомнения, он подумал, что я хочу украсть барометр, и подумал недаром: из замка каждый день что-нибудь пропадало, я своими глазами видел, как солдат выносил, не скрываясь, оправленную серебром хрустальную вазу. Как бы молчаливо признавалось, что воровать можно. Между "можно" и "нельзя" была тоненькая ниточка, которую одни позволяли себе разрывать, а другие - не позволяли.

Я смутился, увидев Герберта, и поспешно повесил барометр на место. Он усмехнулся: - Берите, берите.

У него был глухой голос, очень спокойный, и он сказал это с оттенком горечи и в то же время странного удовлетворения.

- Вы думаете, что я хотел его украсть?

Он посмотрел в сторону.

- Берите, пожалуйста, все берут. В деревне высекли крестьянку за то, что она не позволила им украсть поросенка. Если я не отдам вам барометр, вы можете попросить вашего отца, чтобы он приказал меня высечь. Ведь он офицер?

Странно, что и это было сказано с таким выражением, как будто ему очень хотелось, чтобы мой отец приказал его высечь.

Пока я кричал что-то бессвязное в том припадке вспыльчивости, которых я сам боялся, он спокойно слушал, молчал и смотрел в сторону большими грустными тусклыми глазами. Он был старше меня всего года на три, но в нем чувствовался сложившийся человек, и, когда я замолчал в бессильном бешенстве, он так и заговорил - как взрослый с мальчишкой. По-видимому, сперва он остерегался быть откровенным в полной мере. Он обидно давал мне понять, что не доверяет мне и принужден к осторожности. Потом перестал остерегаться и выложил все, что думал.

Скучным голосом, глядя мимо меня, но не пряча глаза, он сказал, что русский солдат всегда был вором, как, впрочем, каждый солдат. Но каждый - в чужой стране, а русский - и в чужой и в своей. Но плохо не то, что он вор, а то, что он получил право выбирать и быть избранным и, следовательно, может выбирать между исполнением и неисполнением приказа. От революции никто не выиграл, кроме евреев, получивших правожительство, но и они когда-нибудь пожалеют об этом. Эстляндия никогда не признавала присоединения к России, произведенного в 1710 году.

- Петр Первый кидался из стороны в сторону и думал только о том, чтобы вытравить из России все русское, и для вас, русских, счастье, что он был пьяница и маньяк. У Эстляндии своя история, которая ничем не похожа на грязную историю России. В Эстляндии крестьяне освободились от крепостной зависимости на пятьдесят лет раньше, чем в России. Она должна принадлежать Швеции и будет принадлежать, потому что русские проиграют войну. Солдаты и офицеры, превратившиеся в бездельников и воров, не способны сопротивляться Германии. Я переспросил:

- И офицеры?

- Да, и офицеры.

Это было в июне 1917 года. В нашей гимназии только один гимназист, Валька Лаптев, красивый пустой малый, объявил себя монархистом. Он оригинальничал, красуясь перед гимназистками "независимостью" своих убеждений. На Даго я встретился с человеком, который не скрывал, что революция не внушает ему

ничего, кроме отвращения.

Он не только не жалел своего имения, он был доволен, что его имение разворовывают у него на глазах. Он хотел, чтобы еще тысячу раз повторился этот случай с крестьянкой. Он не пожалел бы самой жизни, чтобы русские проиграли войну. Он хотел, чтобы вся революция состояла из воровства и насилия. Из его тусклых глаз, похожих на глаза умного грустного пса, смотрела такая ненависть, что я испугался.

Неловко и грубо я оборвал разговор:

- Нам не о чем говорить!

Он усмехнулся презрительно, пренебрежительно. Все было в этой кривой усмешке - и сожаление, что он разговаривал с мальчишкой, и напоминание о том, что я живу в его доме.

9

Отец ложился рано, но по случаю моего приезда изменил свои привычки и однажды вечером, когда мы гуляли по аллее, огибавшей замок, попросил меня рассказать о политических партиях - чем они отличаются друг от друга. Я горячо принялся за дело, но остыл, когда после часового разговора оказалось, что отец путает кадетов - членов конституционно-демократической партии и кадетов - учащихся кадетских корпусов.

Он смутился, когда я только развел руками. По всему было видно, что существование кадетских корпусов казалось ему более необходимым, чем существование кадетской партии, а их цель - несравненно разумнее и яснее. Впрочем, о Милюкове он не только слышал, но отзывался с большим уважением:

- Ну как же! Член Государственной думы!

И в свою очередь развел руками, когда я сказал, что наше Демократическое общество учащихся намеревается выбить окна в доме Лохова, где собираются последователи этого уважаемого члена Государственной думы.

- Хулиганство, дорогой мой, хулиганство!

Какой-то солдат, проходивший мимо, приостановился, услышав мои рассуждения, вежливо поздоровался с отцом и присоединился к нам. Это был человек лет тридцати, в чистой, аккуратно перетянутой ремнем гимнастерке, с добрым, даже, пожалуй, красивым лицом. Я не заметил в нем ничего, что отличало бы его от других солдат, и не понял, почему, когда он подошел, в отце появилась какая-то напряженность. Прежде он был всецело обращен ко мне, теперь - к этому солдату. Я

продолжал рассуждать и даже, вдохновленный появлением нового слушателя, с еще большей охотой. Но теперь что-то мешало мне. Помехой была - это я понял не сразу - непривычная новизна отношений между отцом и солдатом: новизна, к которой солдат относился спокойно, а отец - неуверенно и нервно.

Мы дважды прошли мимо левого башенного крыла замка, в котором было устроено офицерское собрание. В первый раз окна были закрыты, и все-таки даже издали доносились возгласы и веселый нестройный шум. Когда, обогнув замок, мы стали возвращаться, шум усилился, и к нему присоединились звуки духового оркестра. Теперь окна были распахнуты настежь, офицеры в расстегнутых кителях чокались стаканами, оркестр грянул мазурку (потом я узнал, что у отца были неприятности за то, что он послал вместо себя старшего музыканта) - и две или три пары с топотом прошли по залу. Женщины были русские, не эстонки.

Я знал, что в офицерском собрании пьют и всегда много пили. Случалось, что и отец возвращался домой скорее больной, чем пьяный,- при своем могучем сложении он не выносил спиртного. Но это было давно, до войны. А теперь... Что-то неприятное и даже непристойное померещилось мне в этом разгуле, который грубо ворвался в мягкую тишину июньского вечера, в тишину парка с белевшими палатками, в которых уже давно спали солдаты.

Отец поглядел и отвернулся, нахмурясь. Солдат... Глаза его широко раскрылись, лицо потемнело. Он что-то пробормотал, мне показалось даже, что он заскрипел зубами. Мы пошли дальше. Вскоре он откозырял и простился. Я начал было:

- Этот солдат...

- Какой же это солдат? - сердито сказал отец.- Это теперь начальство, дорогой мой. Начальство, начальство.

Солдат оказался председателем полкового комитета. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись, Я лег, но долго не мог уснуть, все думал.

...Отец не одобрял офицерский кутеж, это было ясно. Он понимает, что сейчас не время кутить, и сердится, что командир полка приказал явиться оркестру. Но еще больше он сердится на то, что после двадцатисемилетней службы в армии должен относиться к солдату как-то иначе, чем прежде, только потому, что этот солдат - председатель полкового комитета. Он просто не знал, как теперь к нему относиться.

Я вспомнил, что солдат и держался как председатель: говорил мало и как бы взвешивая каждое слово, хотя ничего особенного не было в том, что он говорил. Что же случилось, что

совершилось в нем, когда с блеснувшими зубами он смотрел на кутивших офицеров?

Еще одна неизвестная, неожиданная сторона жизни лета 1917 года открылась для меня после поездки на Даго.

Почему наш дом, гимназию, город в разные времена года, сады -Ботанический и Соборный, прогулки к Немецкому кладбищу, каток, себя между четырьмя и пятнадцатью годами я помню рельефно, фотографически точно? И почему семнадцатый год расплывается, тонет в лавине нахлынувших событий, поражающих своей приблизительностью, как это ни странно? Может быть, потому, что до революции жизнь шла согласно устоявшемуся порядку вещей и, как бы к нему ни относиться, память невольно пользовалась им как опорой? Сегодняшний день повторял вчерашний, вчерашний - третьегодняшний. Перемены, если они происходили, были, казалось, связаны не с людьми, а с природой. Невозможно было увидеть учениц гимназии Агаповой в коричневом платье, а Мариинской - в бордо. Наш классный наставник Бекаревич был статский советник, и, отвечая ему, я видел на петлицах его форменного сюртука просветы жгутиков и два блестящих кружочка - такие жгутики и кружочки мог носить только статский советник.

Но, может быть, память изменяет мне, потому что для меня семнадцатый год был битком набит слухами, происшествиями, большими и маленькими, случайностями, бестолковщиной - и все это бешено несло куда-то, опережая тревожное чувство счастья? Впервые в жизни я выступал на собраниях, защищал гражданские права пятого класса, писал стихи, без конца бродил по городу и окрестным деревням, катался на лодках по Великой, влюбился искренне и надолго.

Рельефность внешнего мира как бы подернулась туманом, растаяла, отступила. Зато состояние души, в котором я тогда находился, запомнилось мне отчетливо, живо. Это был переход от детства к юности. От затянувшегося детства с его медленностью привыкания к жизни, заставляющей меня останавливаться, оглядываться на каждом шагу,- к стремительной юности с ее "памятливостью изнутри", характерной для людей, сосредоточенных на себе, эгоистичных и самовлюбленных.

Дожди идут днем и ночью, на город как будто накинута огромная мокрая рыбацья сеть с чешуей, поблескивающей в ячейках, а когда выдается ясный денек, в его бледном свете чувствуется шаткость, непрочность.

В Петрограде арестовано Временное правительство, в Москве идут уличные бои. Но в Пскове, на первый взгляд, не изменяется почти ничего.

Два казачьих полка расквартированы на Завеличье, в Омских казармах, и никто не может с полной определенностью сказать, как они относятся к тому, что происходит в Москве и Петрограде. Днем двадцать шестого октября сотня, а может быть, и две во весь опор мчатся по Кохановскому бульвару к тюрьме, где сидят арестованные большевики. Спешиваются, неторопливо закуривают. Надзиратели в полной форме, вооруженные, стоят у ворот. Казаки собираются группами, размышляют вслух: "Да ну их всех к... На Дон бы!"

И, покурив, побродив, возвращаются в казармы. Город - вымокший, серый, унылый. Солдаты в шинелях, накинутых на плечи, раздают листовки: "Долой большевиков" - эти слова напечатаны крупно, а за ними с красной строки: "Кричат контрреволюционеры всех и всяческих мастей, помещики и капиталисты". К вечеру тюремные служащие сдают оружие, и солдаты освобождают большевиков.

Власть переходит в руки Военно-революционного комитета.

3

Я не вспомнил, а "довоспоминался" до случайностей, которые были связаны с этими днями. Ни до, ни после них эти случайности были невозможны.

...Раннее утро седьмого или восьмого ноября. Просыпаясь, я думаю о колченогом нищем, который тайно живет на дворе дома баронессы Медем, в ящике из-под рояля. Не промок ли нищий? Боюсь, что промок. Правда, ящиков много, они навалены друг на друга. Еще недавно, играя в казаки-разбойники, мы прятались за ними, потом Саша, прочитав миф о Дедале, построил из них лабиринт.

Нищий живет в глубине лабиринта, в маленьком ящике из-под рояля "Миньон". У него рыжая бороденка, он ходит с палкой, странно выбрасывая ногу вперед. Он называет себя матросом - и врет, путается, когда я расспрашиваю, на каких судах он служил. Похоже, что он сбежал из монастыря. Рвань, в которую он одет,

напоминает подрысник. Зовут его Тимофей. Он просит хлеба, но с хлебом в городе плохо, очереди, и я таскаю ему сухари. В нашем доме не переводятся ржаные сухари - отец вырос в Финляндии, там мальчишки постоянно грызут твердые, каменные сухари: вот почему у финнов - и у него - такие крепкие белые зубы.

Нищий прячется - от кого? Когда я приношу ему сухари, он снимает шапочку, крестится и шепчет молитву. Как-то он при мне сбросил подрысник, и я увидел на его заношенной рубахе бурые пятна. Кровь? Похоже, что он боится не милиции, которой уже давно никто не боится, а какого-то определенного человека? В Новоржевском уезде псаломщик зарезал семью попа - на днях "Псковская жизнь" сообщила об этом убийстве. Может быть, он?

Сухари стащить легко, а за огурцами надо лезть в подпол. Без ботинок, на цыпочках я захожу в кухню. Все спят. Я кладу огурцы вместе с сухарями в бумажный кулек, надеваю ботинки и выхожу из дома.

На улицах - пусто, дождь перестал. Я бегу и, завернув на Сергиевскую, догоняю Константина Гей, старшего брата моего товарища Вовки. Догоняю, обгоняю, оборачиваюсь и возвращаюсь.

Гей - в грязи с головы до ног. Мокрая шинель висит на его прямых узких плечах. У него черные руки. В петлях шинели застряли комочки земли.

Обычно Константин мрачноват, немногословен, сдержан. Встречаясь, я никогда не решаюсь заговорить с ним первый. Но сегодня решаюсь:

- Что случилось? Вы упали? Может быть, помочь?

- Ничего особенного. Керенский вызвал с фронта войска, и надо было...

Сухари торчат из разорванного кулька. Он смотрит на них и отводит взгляд.

- Мы разобрали рельсы.

Теперь видно, что у него немигающий взгляд. Я протягиваю ему кулек с сухарями. Он берет сухарь. Усики неприятно шевелятся, когда он жует. Берет второй. Не помню, о чем мы еще говорим. Он сухо благодарит, и мы расстаемся. Колченогий нищий остается без завтрака. Я возвращаюсь домой.

...Боборыкин из седьмого "б" класса, неуклюжий, с длинным туловищем и короткими ногами, объявляет, что он - большевик. Никто этому не верит, тем более что ему трудно объяснить суть своих убеждений, и он только повторяет, что ему нравятся большевики. У него много братьев и сестер, семья бедствует, отец - штабс-капитан Иркутского полка - за три года только один раз был в отпуску.

Приехавший с фронта прапорщик Околович, неузнаваемо

повзрослевший и поздоровевший, грязно и хвастливо говорит о женщинах, а потом с такой же хвастливой уверенностью - о необходимости войны до победного конца. Боборыкин возражает, путается, теряется, повторяется. Гимназисты хохочут. Околович высмеивает его. Я молчу. Грубо выругавшись, Боборыкин уходит.

...Еще летом Толя Р. подробно объяснял мне, почему он отказался участвовать во всероссийском дне эсеров 15 июля. День, по его мнению, был устроен правыми эсерами, которые почти не отличались от трудовиков. А он не правый, а левый. Я выслушал его, все понял, но вскоре забыл. "У тебя неполитическая голова",- с досадой сказал мне Толя.

В нашем классе учился Костя фон дер Беллен, очень маленький, важный, лопоухий. Одна из заметок в записных книжках Чехова: "Крошечный гимназистик по фамилии Трахтенбауэр" - и до сих пор неизменно заставляет меня вспомнить о Косте.

Мы возвращаемся из гимназии - Толя Р., семиклассник фон дер Беллен (старший брат Кости) и я. Между Толей и фон дер Белленом - спор долгий, неукротимый, свирепый. Впрочем, свирепеет с каждой минутой Толя, а фон дер Беллен, красивый, в хорошо сшитой шинели, спорит толково, неторопливо. Он доказывает, что Керенский был болтуном и бабой.

- Если бы на его месте был Савинков, большевикам живо прищемили бы хвост. Единственным решительным шагом Временного правительства является арест Корнилова и Лукомского, но вся трагедия как раз и заключается в том, что этот арест был преступлением. В русской армии которую пытаются погубить большевики, Корнилов - воплощение чести и славы. Здоровые силы армии немедленно объединились бы вокруг него. И это произойдет все равно, потому что Ленин захватил власть на две недели, не больше.

Толя уже не возражает. Он старается справиться с собой, губы вздрагивают, ему трудно дышать. Вдруг он говорит срывающимся, бешеным голосом:

- Еще слово - и я тебя застрелю.

И фон дер Беллен, который только что говорил твердым, уверенным голосом, осекается, умолкает. Теперь все его усилия направлены только на то, чтобы доказать, что он не испугался. Пробормотав что-то, он круто поворачивается и уходит.

Почему этот спор - один из тысяч - запоминается мне? Потому что еще месяц тому назад невозможно было вообразить, что один семиклассник скажет другому: "Я тебя застрелю" - и тот не рассмеется, а испугается, растеряется. Угроза еще казалась почти невероятной возможностью одним махом закончить спор.

Но Толя воспользовался этой возможностью - и с полным успехом. Он никого не мог застрелить, угроза сорвалась неожиданно, как будто она пролетала где-то над нами и он, протянув руку, схватил ее на лету. Но она пролетала. Она вооружалась, принуждала переходить от слов к делу и сама была этим еще почти немыслимым переходом.

Мы существовали уже в другом времени, наступившем незаметно, пока в Пскове лили и лили дожди, беспросветные, скучные, и весь город ходил под зонтиками и в калошах.

4

Я хожу в гимназию каждый день. Саша - два-три раза в неделю.

У педагогов - растерянный вид, и только Ляпунов, прямой, горбоносый, с небольшим животом под форменным мундиром, такой же энергичной походкой проходит по коридору. Его не избрали в Учредительное собрание - с моей точки зрения, напрасно. Остолопов тоже провалился, хотя с успехом выступал на собрании трудовиков. По слухам, ему помешала фамилия.

Латынь не преподается, но Борода по-прежнему ходит в гимназию. И прежде он выпивал, а теперь все чаще, хотя на керенки водку достать почти невозможно. Керенки, выпускавшиеся листами, как переводные картинки, быстро обесцениваются. Бороде обещан другой предмет, а пока он сидит в учительской и читает. Похудевший Иеропольский больше не настаивает на том, что надо говорить не "Петр", а "Петр, Петр Великий", и не поднимает с благоговением свой толстый указательный палец.

Занятия продолжаются, и порядок, как это ни странно, поддерживается тем самым "подпольным" кружком из пяти гимназистов, которые еще до революции собирались у Альки, занимаясь чтением рефератов и спорами о том, была ли смерть Рудина на баррикадах 48-го года в Париже единственным выходом для русского революционера. ДОУ продолжает существовать, хотя собрания к осени надоедают.

То, что волновало нас в июне и июле, теперь кажется мелким, ничтожным. Товарищеский суд из-за какой-то Леночки Халезовой! Снисходительные осузовцы, приезжавшие мирить нас с кадетами, как будто мы были нашалившие дети!

Красная витрина на Сергиевской, стоимшая нам так много забот, пустует.

Осенью семнадцатого года Женя Рутенберг поступает на работу в тыловые оружейные мастерские на Завеличье, и жизнь пятого "б" класса приобретает винтовочно-револьверный уклон. В мастерских женщины и несколько гимназистов промывают керосином, чистят и собирают русские, американские и японские винтовки. Динамит, "гремучий студень", который Рутенберг иногда приносит в гимназию, завернут в пергамент и похож на пачки махорки. Если на горящий кусочек этого студня наступить ногой, он взрывается с такой силой, что можно коленом выбить зубы. У Рутенбергов с помощью динамита ставят самовар: бросают на горящие угли кусочек, величиной с горошину, и вода в полминуты закипает так бурно, что крышку срывает паром.

Поздней осенью бравый унтер, начальник оружейных мастерских, самовольно демобилизуется, одни женщины разбегаются, другие не знают, кому сдавать винтовки,- наш класс постепенно начинает вооружаться. Для себя Женя выбирает почти новенький "смит-вессон".

КЛАССНЫЕ СОЧИНЕНИЯ. ПРИЕЗД ОТЦА. БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Среди товарищей старшего брата, кончавших гимназию, и много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на Великой, решать философские проблемы века, Юрий Тынянов был и самым простым, и самым содержательно-сложным. Хохотал, подражал учителям - и вдруг становился задумчив, сосредоточен: писал стихи.

Гимназические друзья всю жизнь хранили его письма, стихи, его домашние и классные сочинения. "Даже короткая разлука с ним казалась нам невыносимой",- пишет в своих воспоминаниях Лев. После гимназии были разлуки не короткие, а длинные, бесконечные, вынужденные, роковые. Но дружба продолжалась. Брат посвятил Юрию свой первый научный труд. Юрий посвятил ему первую книгу - "Гоголь и Достоевский".

Синие тетрадки с белой наклейкой: "Ю. Тынянов. VIII "а" класс" -сохранились у Августа Андреевича Летавета, действительного члена Академии медицинских наук, в прошлом - известного альпиниста. Ему без малого восемьдесят лет, но его запомнившийся мне еще с детства смех звучит так же оглушительно-простодушно. Как и я, он пишет воспоминания - и каждая страница дышит душевным здоровьем, добротой, твердостью и трогательной верностью дружбе...

Обо многом передумал я, читая гимназические сочинения Тынянова. К семнадцати годам он не просто прочел, а пережил русскую литературу. Ему понятны и близки были трагедия Лермонтова, самоотречение Толстого. Он уже свободно владел крылатым знанием, основанным на памяти, которую смело можно назвать феноменальной.

Принимая творчество как бесценный дар, он отнюдь не думает, что оно ограничивается искусством или наукой. На первое место он ставит творчество сердца. Его любимый герой - Платон Каратаев, потому что он "обладает чем-то таким, что не дано Наполеону и Александру... Счастье его - в непрерывной творческой работе, претворяющей каждого голодного пса в носителя жизни".

Эпиграфом к сочинению "Жизнь хороша, когда мы в ней необходимое звено" взяты строки из "Мистерий" Гамсуна: "Я -

чужой, я чужестранец здесь. Я -каприз бога, если хотите". Мысль, подсказанная эпитафией, развивается: живая человеческая цепь движется по законам, ею самой для себя созданным. Но вот появляются люди, которые не желают "плясать страшный танец жизненной бестолочи",- мыслители, мечтатели, безумцы. Над мертвой машинальностью жизни задумывается Гамлет - и "с тех пор в цепи бытия кровь Гамлета передается от рода к роду; и последние потомки его названы страшным именем "лишних людей". Так перебрасывается мост между Гамлетом и Рудиным. Поучительно-благонамеренная тема неожиданно перевернута - "необходимое звено" оказывается уделом избранных. Возникает и утверждается идея несходства, право на несходство, которое иногда стоит жизни людям "со слишком глубокими, слишком ясными глазами". Но "пора понять, что эти чужестранцы, эти святые бродяги земли - необходимые звенья той жизни, к которой они приближают человечество, может быть, одним своим появлением".

Слишком глубокие, слишком ясные глаза были у Тынянова, и "право на несходство" обошлось ему дороже, чем можно было ожидать. Но он и не искал легкой доли.

Это не сочинения, это - признания. Нечего и говорить о том, как обдуманно, как обреченно решен в этих тоненьких синих тетрадках выбор жизненного пути. Читая их, можно в семнадцатилетнем гимназисте узнать будущего автора "Кюхли" и "Смерти Вазир-Мухтара".

2

Однажды летней ночью я долго не мог уснуть, прислушиваясь к голосам, доносившимся из садика бабаевского дома. Сестра Лена лежала в гамаке, Юрий Тынянов сидел подле нее, и хотя невозможно было разобрать ни слова - да я и не прислушивался,- мне невольно пришло в голову, что это один из тех разговоров, которые решают в жизни многое, а может быть, самую жизнь.

Я уже упоминал, что сестра жила в Петербурге, и в ее возвращениях домой для меня всегда было что-то волновавшее, значительное: Петербург, консерватория, студенческие концерты, на которых сестра выступала с успехом. Нельзя сказать, что она, как Лев, не замечала меня. Случалось, что мы разговаривали, и я, осторожно хвастаясь своей начитанностью, гордился и ценил эти редкие разговоры.

В семье она считалась умницей и красавицей, и я был

искренне огорчен, когда она вышла замуж за студента П. Правда, студент был "политический" и даже сидел в тюрьме, но мне казалось, что этого все-таки мало, чтобы выйти замуж за такого скучно-серьезного человека, маленького роста, слегка сгорбленного, в очках, крепко сидевших на его большом, унылом, висячем носу.

История этого первого замужества сестры прошла мимо меня, помню только, что Лена была "бесприданница", родители студента - богатые мучные торговцы - были против брака, молодые где-то скрывались, приезжали и уезжали, иногда разъезжались. История была сложная, и по маминым участвовавшим головным болям, по ее сдержанному лицу нетрудно было заключить, что это была невообразимо сложная сложность. "Но, может быть, все кончится теперь?" - подумал я, очнувшись под утро от дремоты и увидев Юрия Тынянова и сестру, возвращавшихся из садика с тихими, счастливыми, точно хранившими какую-то тайну лицами.

И эта сложность действительно кончилась, но сразу же началась другая. Я понял это по обрывкам разговора между Юрием и старшим братом, который с удивившей меня откровенностью советовал другу не торопиться со свадьбой...

Но Юрий торопился - и свадьба состоялась в феврале 1916 года в Петрограде. Почему-то мама взяла меня с собой. С вокзала мы поехали в какую-то дорожную гостиницу, я понял это по движению веселого отчаянья, с которым мама назвала ее, усаживаясь в сани. Возможно, что это была "Астория" или "Англетер". Она повеселела, узнав, что свободных комнат нет, и, спускаясь по нисходящей - от самой дорогой гостиницы до самой дешевой, - мы сняли комнату в номерах на Петроградской, где баба с подоткнутым передником вошла не стучась и спросила - не нужен ли нам самовар? Вместо ответа мама с веселым лицом сунула ей оставшуюся с дороги французскую булку.

Мне не понравилась свадьба, которую устроил богатый племянник Софьи Борисовны Тыняновой, матери Юрия. Но еще меньше понравилась она молодым, которых я нашел уединившимися в нише, полускрытой портьерой. Они тихо разговаривали и, кажется, обрадовались, увидев меня. У них были усталые, скучающие, напряженные лица. Без сомнения, они с нетерпением ждали окончания затянувшейся, никому не нужной церемонии. На сохранившейся фотографии Юрий сидит, положив руки на колени, как провинившийся школьник, а по красивому лицу сестры видно, что она только что тяжело вздохнула. В нише за портьерой они ласково поговорили со мной, и я чуть не рассказал, что однажды нашел на полу в комнате сестры

программу концерта, на которой острым, летящим почерком Юрия было написано:

В комнате Леночки - пудра и духи,

В комнате Леночки пишутся стихи.

Но я промолчал. Так далеки были эти мелькнувшие беспечные изящные отношения от никому не нужной, невеселой свадьбы!

Молодые сняли квартиру где-то на Гатчинской, и Февральская революция застала их в Петрограде. Осенью восемнадцатого сестра приехала в Псков с маленькой дочкой Инной - и между молодыми супругами вскоре пролегла линия фронта.

3

Отец возвращается неожиданно, мрачный, с повисшими черно-седыми усами - и сразу начинает скандалить. Его известили, что Лена вышла замуж, но, по-видимому, известили мельком или письмо не дошло. Нельзя сказать, что ему не нравится Тынянов, напротив, из товарищей Льва он любил его больше других. "Юшенька - душа, душа",- говорит он. Но сестра уже была замужем, когда он из отпуска уезжал на фронт, и вторичный брак без его ведома и согласия кажется ему беспорядком.

Хмуро выслушивает он мамин рассказ о том, как зимой 1916 года в Петрограде была отпразднована свадьба. На внучку он не хочет смотреть, а когда мама спрашивает: "Что в полку?" - машет рукой и отвечает одним выразительным словом.

По всему дому развешано детское белье, он скатывает его в ком и вышвыривает из своего кабинета. Лена кричит на него, он с треском захлопывает перед нею дверь и принимается клеить скрипки.

Нельзя не согласиться с ним - в доме беспорядок. Нянька собралась переехать к актеру Салтыкову в Петровский посад, но живет по-прежнему у нас. Зоя ходит беременная, подурневшая, с ярко-рыжими веснушками на бледном лице, но веселая, и даже почему-то веселее, чем прежде. Она уходила от нас, полгода служила продавщицей в магазине игрушек "Эврика" и вернулась с "прибылью" как говорила нянька. Отец хотел рассчитать ее, мать отказалась, настояла на своем, и Зоя осталась. И действительно, переваливаясь, грузно топая, она поспевает всюду.

Впрочем, поспевать надо только к маленькой Инне: все

происходящее в доме направлено к ее благополучию и концентрически вращается только вокруг ее существования. Фрукты и овощи достать невозможно, но они откуда-то появляются - очевидно, падают с неба. Мама терпеливо готовит какие-то овощи, протирая их через сито, нянька громко доказывает, что так кормят только цыплят. Но больше всех сердится и недовольна сестра. Она и прежде часто сердилась и была недовольна, и это всегда не только молчаливо прощалось, но считалось как бы естественным: ведь в ее жизни произошло несчастье - она была бы замечательной виолончелисткой, если бы не переиграла руку...

Только девочка ни на кого не сердится и очень мила: беленькая, с голубыми глазами. Когда мама наконец уговаривает отца посмотреть на внучку, он приходит с корнет-а-пистоном и оглушительно играет над кроватью, в которой она лежит, утреннюю зорю - сигнал, которым в полку начинается день.

Девочка улыбается, и, сморгнув набежавшую слезу, отец целует ее ручку и уходит, стараясь не скрипеть сапогами.

4

В городе ждали налетов немецкой авиации, и Женя Рутенберг, больше не работавший в оружейных мастерских, придумал развлечение. Он выходил на Сергиевскую и начинал внимательно смотреть на небо. На вопросы он не отвечал. Быстро собиралась толпа, люди стояли, подняв головы и тревожно переговариваясь, а он тем временем незаметно скрывался.

Своего товарища Кисселя, которому Емоция отказывался выдать свидетельство об окончании четырех классов, он потащил к матросу П., председателю городского ревкома. Матрос понравился Рутенбергу. На поясе у него висели гранаты, из кармана торчал наган. Записку он написал синими чернилами, а расписался красными: "Директору гимназии. Приказываю немедленно выдать гимназисту Кисселю свидетельство об окончании четырех классов. Матрос П.". Емоция, которого чуть не хватил удар, попытался уклониться от выдачи документа, ссылаясь на то, что фамилия Киссель была написана через одно "с", но потом все-таки выдал.

Эту историю мы с Алькой выслушали с интересом. У нас был свой повод обратиться к матросу П., более серьезный: накануне Алька набросал собственный план обороны Пскова и, хотя я считал, что глупо идти с этим планом в ревком, Алька настаивал,

и я почти согласился.

...В Пушкинском театре с утра шел митинг, и, когда мы пришли, слово получил трудовик, худенький, пожилой, в очень приличном, болтавшемся на нем костюме.

Начиная свою речь, он упомянул, что очень устал, и меня это ничуть не удивило: у него был измученный вид. Но со всех сторон закричали: "Устал -так и катись к такой-то матери!" Трудовик терпеливо переждал шум и продолжал свою речь. Он был знаменитый, кто-то сказал, что он только что приехал из Петрограда... Мы с Алькой попытались пробраться на сцену, но матросы не пустили нас, и мы пошли в фойе, а потом на балкон. С острым интересом приглядывался я к лицам, прислушивался к вспыхивающим спорам. Что-то горячее, обжигающее было в этих людях, бродивших в накинутых нараспашку шинелях, с самокруткой, прилипшей к нижней губе. Если прежде они не могли сделать и шага по своей воле, потому что носили солдатские шинели, теперь, в тех же шинелях нараспашку, они были вольны делать все, что хотят.

Как будто немцы не стояли под Псковом, трудовик решительно возражал против неорганизованного захвата крестьянами помещичьих имений и требовал постепенного перехода частновладельческих земель в общенародную собственность. Поднимался шум, и он ждал утомленно и терпеливо.

Мы стояли на балконе, там, откуда я слушал Губермана. Но как все изменилось с тех пор! Тогда в зале была "публика", люди, заплатившие деньги, чтобы сидеть здесь в приличной одежде и слушать. Дамы оглядывали друг друга с головы до ног, мужчины были в черных костюмах. Вице-губернатор сидел в ложе, и знаменитый скрипач поклонился публике, а потом - отдельно - ему.

А теперь было холодно и шумно, солдаты курили, и табачный дым медленно расплывался в тускло освещенном зале. Все двери в коридор и фойе были распахнуты настежь, везде сидели солдаты и матросы, и на балконе, под скамейками некоторые даже спали. На сцене все было красное - длинный стол президиума, за которым сидели члены исполкома с повязками на руках, и другой стол - для выступлений. Знакомый занавес с бородатым богом, сидящим на пне и играющим на свирели, который зрители всегда рассматривали, ожидая, когда начнется спектакль, был оттянут в глубину, и бог, скрестивший свои козлиные ноги, выглядел сморщенным и сердитым.

Не слушая трудовика, громко разговаривая, солдаты выходили в фойе. Один, молодой, сидевший рядом с нами,

сказал: "С нас, брат, хрен возьмешь! Мы - распространяемые".

Вдруг все повалили обратно. Плотный лысый усатый человек в бушлате вышел из-за стола президиума. И прежде казалось, что этот митинг происходит не в городе, не в Пушкинском театре, а где-нибудь на поляне или в лесу - вихрь налетал порывами и клонил зал, как лес. Теперь, когда этот человек в мертвой тишине сказал: "Братья!" - вихрь налетел и затих. Он говорил медленно, веско. Один за другим матросы поднимались на сцену и, проходя мимо него, в знак почета с размаху швыряли бескозырки на пол. Это был известный большевик Позерн...

Мы пошли доставать патроны к винтовкам, но один знакомый типографский ученик, встретившийся нам на Сергиевской, сказал, что наши уходят из города без боя. Он сказал, что сейчас важно не обороняться, а отступать, тем более что немцы - те же солдаты, только обманутые Антантой. Но Алька не согласился и возразил, что это предательство - сдавать без боя такой город. Мы проходили в это время мимо губернаторского дома, в котором помещался ревком.

- Зашли? - спросил Алька.

Я не решался - и в эту минуту Константин Гей вошел с улицы в Анастасиевский садик. Он торопился, но мы все-таки остановили его - и Алька твердым голосом стал излагать свой план. У него рано стала расти борода, и теперь, когда он побледнел от волнения, она была особенно видна, белая, пушистая, начинавшаяся почти под глазами. Гей слушал внимательно но, кажется, больше интересовался Алькиной бородой, чем его стратегическим планом.

- Сейчас дело обстоит так, что ваш план едва ли пригодится, - сказал он. - Но вы можете нам помочь. И очень. Кстати, сейчас мне звонила Блюм из книжного склада. Там для вас найдется работа. И он крепко пожал нам руки.

Мы зашли в книжный склад, но там не было никакой работы. Заведующая Блюм раздавала книги, и можно было взять сколько угодно и унести домой. Я хотел набрать разных, но она не дала, и пришлось взять наудачу несколько толстых пачек. Мы снесли, а потом вернулись, потому что Блюм была старая, больная и один раз уже слетела с лестницы, таская книги. Она все говорила ласково: "Ну и ребята, ну и ребята!" - и уговорила нас взять еще несколько пачек, одну здоровенную, так что пришлось тащить ее на палке.

В доме был переполох, когда я вернулся. Зоя рожала, но пока кричала не очень сильно, и Саша предполагал, что у нее будут средние по трудности роды.

- Держу пари, что мальчик,- сказал он.

Мама настояла, чтобы позвали акушерку, она сидела в столовой и пила ячменный кофе с кокорами из картошки. Нянька сидела на кухне, плевалась и говорила, что это - чистый перевод денег: она четверых, слава богу, родила без всяких там докторов и акушеров. На самом деле у нее был только один сын Николай, годом старше меня.

- Проспалась бы, Наталья,- махнув рукой, сказала ей мама.

Сама она тоже рассказала, что Сашу родила легко, чуть ли не на извозчике, а меня - трудно. И все посмотрели на меня с укором. Мне показалось странным, что в столовой спокойно разговаривали, а когда Зоя кричала, никто к ней не шел, а только прислушивались - и опять начинался неторопливый разговор. Акушерка поднялась, сказав наконец:

- Пойти, что ли, взглянуть.

Стемнело, начали постреливать, кто-то сказал, что немцы уже в Крестах. Сестра, укачивая девочку, пела неизвестным грубым голосом - сердилась, что девочка еще не спала.

Потом где-то по соседству ударило, рвануло, послышался треск раздираемых досок. Снаряд попал в сапожную мастерскую на углу Гоголевской -и все забегали, засуетились: девочку надо было спасать. Открыли тяжелую крышку подпола на кухне, снесли туда большую бельевую корзину, мама спустилась, чтобы устроить постель. Потом спустилась сестра, уложила девочку и через полчаса принесла ее обратно с криком, что в подвале сыро.

Все ходили оглушенные, морщась, затыкая уши. Никогда еще в доме не было так шумно. Акушерка сердилась: стемнело, выстрелы приближались, она жила далеко, за Ольгиным мостом,- и нянька стала бояться, что она что-нибудь сделает, чтобы Зоя родила поскорее. Но Саша сказал, что это невозможно. Зоя кричала теперь по-польски - по его мнению, это был верный признак, что скоро родит.

Нянька сидела в платке, сползающем с лысой головы. От нее пахло самогоном, и она говорила, что, когда немцы придут, она скажет им: "Гут морген" и "Зетцен зи зих".

Наконец Зоя родила девочку. Все побежали к ней - и немного погодя стали выходить с довольными, добрыми лицами. Мама была рада, что позвала акушерку.

- Девушка золотая,- сказала она. - С кем не бывает.

...Мы с Сашей стояли у окна, и меня немного трясло, хотя я не чувствовал страха. Саша объяснил, что это не страх: просто в

подобных случаях человек за миллионы лет приучился бояться, и во мне лязгают зубами предки, с которыми можно справиться усилием воли.

Окна в кухне завесили ватным одеялом. На улице мело, снег закручивался как-то страшно, словно кто-то бросался им из темноты.

- Стой! Куда, куда? Назад! - закричали на улице, и мы услышали выстрел, а потом долгий замирающий крик.

Потом все стихло, и только, мотаясь и как бы не зная, куда деваться, все падал и падал косой, остренький снег...

Отец вышел из своей комнаты, прислушался и сказал:

- Немцы выпили по рюмочке и завалились спать.

И сам, зевнув, отправился спать.

6

Утром я пошел смотреть, взяли ли немцы город, и встретил одного у чаеоторговли Петунина и Перлова. Молоденький, он шел, зажав под локтем винтовку и беспечно оглядываясь. Другой - старый, сердитый - расклеивал афишки: под страхом смертной казни комендант генерал Штанген приказывал немедленно сдать оружие.

- Черта с два,- сказал кто-то у меня за спиной.

Это был Женя Рутенберг, изрядно небритый, в шинели с оборванными пуговицами и в давно не чищенных сапогах. Обычно он выглядел мрачноватым, а в этот день не то что сиял, но было видно, что все ему интересно - и то, что немцы взяли город, и что комендант приказал сдать оружие, и даже что наши, отступая, взорвали Ольгинский мост. Немцы, по его мнению, не смогут удержаться в Пскове больше недели. Он сказал, что в поле за товарной станцией валяются руки, ноги, головы в касках, искореженные винтовки и обрывки сине-серых немецких шинелей: два матроса согласились кружным путем провести немцев в город и на товарной станции взорвали заминированные вагоны с динамитом.

- Решили, что если умирать, так с музыкой,- сказал Женя.- Непременно сходи. Интересно.

Сам он уже успел притащить оттуда несколько пироксилиновых шашек, бикфордов шнур и ручные гранаты.

- Штук десять. Завтра еще пойду. Там какие-то картонные трубки валяются. Здоровенные. Толщиной с руку. Надо будет стащить.

- Зачем?

- Взорвем. По-моему, это - ракеты. Мы пошли смотреть Ольгинский мост. Красивый, изящно взлетающий над Великой, он был теперь безобразно оборван. Опустевший бетонный бык, над которым, как бы ничем не поддерживаемые, висели спирали железа и нацеленные в небо пики, выглядел одиноким и тупо-унылым.

Все несли оружие. К площади у Троицкого собора две женщины тащили винтовки на одеяле. Усатый немец ловко разбирает винтовки к винтовкам, гранаты к гранатам. Сабли и кучи патронов лежали в сторонке, а на столе перед немцем - грудa револьверов.

Я вернулся домой. У нас с Сашей не было такого арсенала, как у Рутенберга, но две винтовки были - русская трехлинейная и американский винчестер.

Мы отодвинули собачью будку и закопали винтовки, предварительно смазав их лампадным маслом.

- Пригодятся,- пробормотал Саша.

Его кривой, острый нос блестел решительно. Мы поставили будку на место. Наша собака Преста, умирающая от старости, смотрела на нас покорными, слезящимися глазами.

НЕМЦЫ ЗАНИМАЮТ ГОРОД

Немцы занимают город, и становится тихо и скучно. Улицы они называют по-своему: Кузнецкую - Шмидт-штрассе, еще какую-то - Унтер-ден-Линден, совсем как в Берлине. Уж не думают ли они остаться здесь навсегда?

Прежде денег было много, а провизии мало. Теперь - наоборот. В магазинах появляются хлеб, мясо, консервы, рыба. Но денег нет, потому что нет работы. А на керенки купить ничего нельзя.

Высокий офицер, в очках, с бородкой, является к нам: военный постой. Он выбирает комнату. Поджав губы, гордо закинув голову, мама водит его по квартире. В комнату, где лежит Зоя со своей рыженькой девочкой, она его не пускает:

- Здесь больная.

Наконец он выбирает комнату, конечно самую лучшую, бывшую гостиную, в которой, напоминая о лучших временах, стоит слегка потрепанный бамбуковый шелковый гарнитур.

Он просит перенести к нему рояль - иногда ему хочется помузицировать в свободное от службы время. Парадной лестницей пользуется теперь только он, а мы начинаем ходить через кухню.

Кажется, нет особых оснований ненавидеть этого корректного офицера, но я его ненавижу. Отец почти не выходит из своей комнаты, но с мамой Herr Oberst иногда разговаривает покровительственно - по какому праву? Маленький щупленький денщик, стреляющий глазами в каждую девку, приносит ему обед, и, пока офицер запивает котлеты вином, денщик сидит у крыльца и играет на маленькой гармошке. Мы обедаем позже: мама режет хлеб на неравные доли - мужчинам побольше. На заседании городской думы купец Сафьянщиков напоминает, что некогда Псков был вольным городом и до Ивана Грозного управлялся посадником, власть которого была ограничена вечем. Никто не соглашается взять на себя роль посадника, но выбирается комитет, которым будет управлять городской голова.

Ровно в полдень в Анастасиевском саду играет военный оркестр, и немецкие офицеры, прямые, с откинутыми плечами, прогуливаясь, приветствуют друг друга коротким, полным достоинства рычанием: "Moen" ("Morgen").

По воскресеньям теперь служат в соборе, дамы приезжают в

страусовых боа, в шляпах с птицами, и кажется, что такие боа и шляпы носили не два года тому назад, а двести. Вдруг выясняется, что в Пскове много генералов и даже один сенатор, явившийся, как Бонапарт, в треуголке. Устраиваются верховые прогулки, и однажды я видел всадницу, сидевшую не верхом, как мужчины, а боком, спустив на сторону маленькие ножки. Шурочкин дядя, ротмистр Вогау, ехал за нею, играя стеклом, в котором был спрятан стилет.

Очень странно, что неисчислимые перемены происходят как бы сами собой, без участия человеческой воли - и совершенно бесшумно, если не прислушиваться к мерным шагам патрулей. Но не прислушиваться - невозможно, в особенности ночами, когда все думается, все не спится...

Шумит только мадам Костандиус или Компандиус - пожилая дама в богатой каракулевой шубе, в круглой каракулевой шапочке, надетой по-офицерски лихо, немного набекрень. Эта лихость заметна и в самой мадам, и в том, как торопливо, хлопотливо летают по городу ее саночки с кокетливо выгнутым передком и полстью, обшитой каким-то нарядным мехом. Мадам - это известно в городе - в прекрасных отношениях с немецким командованием. Каждый день она посещает дома, в которых живут бывшие офицеры. К нам она не заезжает; очевидно, сводный полк, о котором хлопочет мадам, не нуждается в военном оркестре.

У входа в здание Государственного банка на Великолуцкой стоит часовой, и над подъездом висит черно-бело-красный флаг. Немецкая комендатура. Здесь всем жителям, начиная с 16 лет, выдаются аусвайсы - удостоверения с отпечатком большого пальца, с описанием примет.

В гимназии - солдатская дисциплина.

- Как при Кассо,- с возмущением замечает Саша.

Кассо был министром просвещения, когда Саша поступил в подготовительный класс.

Снова мы ходим на утреннюю молитву, и у отца Кюпара теперь не елейно-добродушный, а мстительный вид. Уроки закона божьего и латыни возобновляются - и классные наставники с особенным рвением наблюдают, чтобы мы не пропускали эти уроки. Борода даже полякам не ставит больше трех с плюсом. Его глазки из-под косматых бровей смотрят теперь пронзительно-остро.

Время от времени наш Комитет, который снова становится "подпольным", собирается у Альки Гирва, но больше мы не читаем рефераты и не спорим о том, был ли прав Рудин, погибший на баррикадах 1848 года. О, с какой горечью вспоминаем мы лето

прошлого года, когда на заседаниях ДОУ мы говорили о самом важном - как жить, как найти себя! Мы были уверены в том, что, куда бы ни повернула история, она действует в интересах большинства, а воля большинства естественно и непреодолимо превращается в право.

Открытые споры на собраниях ДОУ - неужели они казались нам счастьем только потому, что о них теперь нечего было и думать? И неужели так будет всегда - самое светлое в жизни будет легко забываться, а темное мучить нас упреками за то, что мы не ценили пролетевшего счастья?

Через много лет, читая Хлебникова, я был поражен простотой, с которой он выразил это чувство:

Как часто после мы жалеем

О том, что раньше бросим.

2

Можно ли провести границу, разделяющую детство и юность? Переход происходит незаметно: тает одно, бесшумно отдаляется другое, все глуше доносятся ломающиеся мальчишеские голоса. Иначе было со мной, и хотя нельзя сказать, что мои размышления были такими отчетливыми, какими они мне кажутся теперь, когда полстолетия отделяет меня от зимы восемнадцатого года, я вижу себя упрямо приближающимся к светлой черте понимания.

Войдя в Псков зимой 1918 года, немцы как бы захлопнули дверь за моим детством. Впервые в жизни я подводил итоги, и состояние души, в котором я тогда находился, запомнилось мне отчетливо, живо.

Почти всегда я находился в кругу эгоистических мелочей, и даже если у меня "неполитическая голова", как говорил Толя, мне давно пора было понять и оценить то общее, что скрывалось за этими мелочами. И, оценив, вести себя совершенно иначе.

Когда на острове Даго я разговаривал с человеком, который не скрывал, что русские для него - это "взбесившиеся звери", у меня не нашлось ни одного убедительного слова, чтобы доказать ему, что взбесились не мы, а такие, как он. Я был просто опрокинут на обе лопатки. Между тем я мог бы спокойно доказать, что, презирая "человеческое", он подставлял под это понятие "свое родное", хотя это "свое" вовсе не было для него родным, потому что он был прибалтийским бароном, потомком тех, кто некогда поработил Эстляндию. Он был контрреволюционером, потому что отказывался признать, что и

эстонцы, и русские, и евреи - прежде всего люди, а уже потом - эстонцы, русские, евреи. И врал он, заявляя, что ничуть не жалеет своего имущества. В свои двадцать лет он выглядел на сорок и еще постарел на моих глазах, потому что боялся, что его имение, его имущество вырывают и непременно вырвут у него из рук...

Почему я смолчал, когда Околович спорил с Боборыкиным? Ведь Околович был мне отвратителен, а Боборыкин - близок. Он не мог, не умел возразить Околовичу - ему только и оставалось ругаться.

А встреча с Константином Геом? Упорно вглядываясь в далекое прошлое, я едва различаю две фигуры - шестнадцатилетнего гимназиста, не уверенного ни в чем, и прежде всего - в целесообразности своего внутреннего мира, и студента, в сущности, тоже еще мальчика, но вполне сложившегося в свои 22 года и действовавшего с резавшей глаза определенностью и силой. Гимназисту интересно все: и то, что студент так спокойно идет по улице, после того как он взорвал рельсы, чтобы остановить войска, вызванные Керенским; и то, что он с такой охотой жует сухари,- наверно, ему давно хотелось есть, но не было времени или он ничего не успел взять из дома?

Гимназисту и в голову не приходило, что студент заговорил с ним только потому, что был в лихорадке дела. Он рисковал, и рисковал смертельно. Вся страна тонула в словах, а перед гимназистом в то утро встало дело. Оно отпечаталось комочками грязи в петлицах мокрой студенческой шинели. Оно смотрело на гимназиста темными умными усталыми глазами.

В книжном шкафу старшего брата стояли приложения к "Ниве" - подписчики этого иллюстрированного еженедельного журнала получали собрания сочинений русских и иностранных писателей. Уезжая в Петербург после каникул, Лев запирает шкаф на ключ, и долго еще облизывался бы я, поглядывая сквозь стекла шкафа на книжные корешки, если бы Зоя, убирая комнату, нечаянно не разбила эти стекла. Удачно получилось, что, падая со стула (она обметала потолок), ей удалось разбить оба стекла - и в правой дверце, и в левой.

Она попросила меня сказать маме, что это сделал я, пообещав по-своему расплатиться за услугу. Ей и в голову не приходило, что, несмотря на постоянно терзавшее меня желание, от которого подчас впору было сойти с ума, я с чувством стыдного провала вспоминал то, что произошло между нами в Соборном саду...

К этому книжному шкафу в доме было особенное отношение - довольно и того, что он принадлежал Льву. От мамы мне влетело, как давно не влетало, но я торжествовал. Можно было не сомневаться, что стекла вставят не скоро - в нашем доме это могло произойти лет через пять.

Вот когда добрался я наконец до Ибсена, которого читал, подгоняемый особенным интересом - ведь о нем больше всего спорил Лев со своими гимназическими друзьями!

Теперь, спустя полстолетия, мне кажется, что психологический портрет писателя, его образ рано сложился в сознании, потому что я читал не отдельные книги, а целые собрания сочинений, от первого до последнего тома. В этом внутренне связанном чтении мне всегда слышалось что-то музыкальное - взлеты громкости, повторение мелодии, чувство времени, которое у каждого писателя было своим. Тургенев был медленен, его короткие романы казались длинными. У Гончарова длинноты были обстоятельны и напоминали о серьезности содержания. Достоевский был быстр, стремителен, энергичен, требователен, зол. Он заставлял читателя надолго останавливаться там, где это было для него необходимо, чтобы снова обрушиться на него серией немыслимых, скандальных ударов.

Но каждый из них был связан еще и с обстоятельствами моей собственной жизни.

Тургенев - это был длинный, ленивый летний день на каникулах, когда, не расставаясь с книгой, можно успеть так много. Это - ловля пескарей где-нибудь за городом, в Черняковицах, не на удочку, а руками или фуражкой. Это - долгое, интересное купанье на Великой, когда можно нырять с мола и плыть поперек волны, которую поднимает идущий из Черехи в Псков пароходик. Это - гимназическая куртка, накинутая на голое тело, потому что стоит ли одеваться, чтобы сбегать домой за парой котлет и горбушкой посоленного хлеба? Это - "Отцы и дети", с презрительным, беспощадным, обожаемым Базаровым, которому - с моей точки зрения - так же не шли его висячие бакенбарды песочного цвета, как и то, что он влюбился в эту придуманную, холодную Одинцову. Это - Рудин, из-за которого я чуть не утонул. Потрясенный тем, что в конце романа он должен ехать в Пензу, но соглашается ехать в Тамбов только потому, что в Пензу нет лошадей, я задумался, заплыл очень далеко и, кое-как добравшись до противоположного берега, рухнул на песок задохнувшись, с обмякшими ногами и руками.

И в самом Тургеневе все было летнее - мелькающие среди берез женские платья, запах леса, травы, сирени. Наташа с горничной без оглядки спешит на свидание с Рудиным через поле, по мокрой траве. С горничной! На свидание!

2

Совсем другое чтение началось, когда зимой восемнадцатого года я принялся за книги, которые мы с Алькой унесли из книжного склада Совдепа. Казалось, что авторы - Степняк-Кравчинский, Плеханов, Кропоткин -торопились написать их, наборщики - набирать, переплетчики - переплетать, так же как торопилась старуха Блюм, у которой для этого были свои основания. Они были напечатаны на желтой ломкой бумаге и совсем не похожи на аккуратно переплетенные приложения к "Ниве". Я мало знал о русской освободительной борьбе до тех пор. В этих книгах передо мной впервые появились - и ослепили меня - имена Желябова, Кибальчича, Морозова, Веры Фигнер.

Кибальчич накануне казни думает не о том, что завтра он не будет дышать, говорить, думать, двигаться, жить. Последнюю ночь он проводит в работе над своим летательным аппаратом. Для него не существует "никогда" -так действовать можно, только опираясь на полную уверенность своего участия в будущей жизни.

Впервые я почувствовал "вещественность" истории - не той,

которую преподавал нам в гимназии солидный, справедливый, скучноватый Коржавин, а совсем другой - неотвратимой, неизбежно связанной и с самим Коржавиным (который, быть может, и не подозревал об этом), и с любым из моих одноклассников, и со мною.

Это были не имена и даты, которые полагалось запомнить к очередному уроку, а люди и сцены, которые воочию проходили перед моими глазами. Мог ли я предположить, читая статью о Воронежском съезде и распаде "Земли и воли", что придет время, когда близкое знакомство с Николаем Александровичем Морозовым по-своему озарит трагизм этой сцены? Что старик, носивший вместо галстука детский, в горошинку, бантик, возьмет меня за руку и не спеша поведет назад, через ухнувшие десятилетия?

Что он окажется именно таким, каким я ожидал его увидеть, - как бы ежедневно радующимся своему появлению на свет, юношески влюбленным в людей и природу? Что его единственный в своем роде, полуфантастический восьмитомный труд о Христе (в котором смелые догадки соединились с детской наивностью) помешает ему записать (несмотря на мои уговоры) удивительные истории, которые он рассказывал мне своим простодушным говорком?

...Нельзя было не ходить в гимназию, не готовить, хотя бы и бегло, уроки, не помогать по дому - у мамы были сильные головные боли, нянька совсем спилась. Я читал ночами, и недолго, часа полтора. Но мне казалось, что не было минуты, когда бы я не читал. И в гимназии, и за домашним сочинением, и встречаясь с Валею я был полной власти прочитанного, понятого впервые и поразившего меня загадочной небоязнью смерти.

Читая Диккенса, мне ничего не стоило вообразить себя в долговой тюрьме, где произносил свои жалкие и величественные речи отец Крошки Доррит. Вместе с Жаном Вальжаном я спускался в подземный Париж, в клоаку узких подземных переходов, по которым были проложены канализационные трубы. В романах Стивенсона я с нетерпением ждал плавных, как бы бесшумно подкрадывающихся неожиданностей - и не обманывался, потому что они встречались почти в любой главе.

Каждый раз чтение превращалось в путешествие, далеко уносившее меня из дома, из Пскова. И возвращения были разные:

то я стремительно скатывался вниз, как с ледяной горки, то медленно опоминался, оглядывался с недоумением: "Да где же это я? И неужели заколдованное "там" исчезнет с последней страницей?"

Но совсем другое почувствовал я, читая Герцена - медленно, потому что это было новое для меня, трудное чтение. Он не уводил меня с собой; напротив, он сам явился ко мне в своем длинном сюртуке, в светлых штанах, бородатый, с высоченным лбом, держа в руке мягкую шляпу. Вошел и как будто сказал, что ему до всего дело - и до города, в котором хозяйничали немцы, и до гимназии, и до нашей беспорядочной, беспокойной семьи.

Да, для него было важно, что в городе на первый взгляд все так благополучно, как не было, кажется, еще никогда за всю его многовековую историю. Улицы переименованы, хлеба - вдоволь, хотя и дураг, на любом углу - бирхалле, по воскресеньям - гулянье в садике под военный оркестр, как где-нибудь в Свиномюнде. И все - неблагополучно, шатко. Когда мне минуло шестнадцать лет, меня вызвали в немецкую комендатуру: худощавый, с прямой шеей, пожилой офицер записал мои приметы в аусвайс (удостоверение личности), а потом велел мне приложить палец сперва к штемпельной подушке, затем - к аусвайсу.

В Герцене было все - и этот офицер, и ощущение неблагополучия, и бирхалле, и военный оркестр. И в столкновения между гимназистами - еще небывало острые - Герцен вмешивался уверенно, смело. Уже не мадам Костандиус или Компандиус летала в своих саночках по улицам Пскова. Уже действовал - и весьма уверенно - перебежавший от красных Булак-Балахович. С верхней площадки гимназической лестницы, на ступенях которой стояли старшекласники, он произнес речь, в которой говорил о разгоне Учредительного собрания, о "восстановлении порядка и справедливости на Руси", о "национальном возрождении". Но немногие вступали в его ряды, как будто предчувствуя, что не пройдет и года, как по его приказу будут вешать невинных людей на фонарях Кохановского бульвара.

Мне казалось, что Герцену важно и то, что происходило в нашей семье, ссоры родителей, обидное равнодушие братьев и сестер к отцу, гордая беспомощность матери перед старшими, у которых была уже своя, особенная, сложная жизнь. Как все это было не похоже на поразившую меня, как бы вознесшуюся над временем откровенность, с которой Герцен написал о себе. Так ничего не скрывать, так распахнуться перед всем человечеством, с такой прямоотой рассказать историю своей любви, трагедию

своего ревнивого счастья - о, как близко все это касалось сложных и день ото дня все больше усложнявшихся отношений в нашей семье! Я ничего не сравнивал, я только останавливался с изумлением перед контрастом света и тени. Через много лет в лавке букиниста я купил впервые изданное собрание сочинений Герцена - много плохо переплетенных книг с портретом автора на тонкой обложке. Это было очень странное издание: все, что писал Герцен, редактор Лемке напечатал в последовательном порядке - день за днем, неделя за неделей. Запись из дневника шла вслед за газетной заметкой, личное письмо - вслед за письмом, обращенным ко всему человечеству. Впрочем, каждая строка была обращена ко всему человечеству, и обыкновенность, естественность этого обращения была загадочна, непостижима!

Диккенс с помощью бог знает каких преувеличений заставлял меня то смеяться, то плакать. В Тургеневе я смутно отличал намерение заинтересовать читателя от истины, не украшенной изяществом литературы. Так вот: не выше ли этого удивительного искусства герценовский свободный, блистательный разговор с читателями, в котором нет ни принужденных встреч, ни выдуманных столкновений?

Теперь, когда Герцен наконец великолепно издан в тридцати томах под редакцией видных ученых, его читают немногие. Это говорит не о нем, а о них. К "шуму времени" прислушиваются те, для которых всегда был дорог Герцен. Решение иных загадок современности они находят на его страницах.

"КУЧКА БЕЗУМНЫХ ОРАТОРОВ ПОЛУЧИЛА ДОСТОЙНЫЙ УРОК"

В этот день Бекаревич первым вызвал Соркина, маленького чернявого, на редкость плотно сбитого мальчика, и немедленно влепил ему двойку. Соркин ходил в изношенных высоких сапогах - других у него не было - и старательно мазал их ваксой. Прежде чем снова уткнуться в классный журнал, Бекаревич с отвращением потянул носом воздух и спросил:

- И зачем ты ходишь в гимназию, Соркин?

Эта фраза повторялась по меньшей мере два раза в неделю.

Потом он вызвал Смилга. Это был высокий, белокурый уже не мальчик, пожалуй, а юноша, прекрасно игравший на скрипке и неизменно уклонявшийся от выступлений на гимназических вечерах - помнится, это внушало мне уважение.

Смилга был неловок и простодушен - кто из нас, выходя к столу преподавателя, прихватил бы с собой листок из подстрочника?

Листок выпал из книги, и Бекаревич поднял его, прежде чем Смилга успел наклониться.

Сильно нахмурясь, латинист почесал свою бороду под нижней губой - это всегда было признаком скверного настроения. Потом поставил единицу, а листок не вернул - положил его в классный журнал. Ничего особенного, казалось, не произошло. Мы пользовались подстрочниками, правда - не в классе. Были подстрочники заслуженные, ветхие, которые прилежно служили еще нашим старшим братьям, были и новые, свободно продававшиеся в любом книжном магазине. Их выпускал известный ученый с немного странной фамилией Нетушил, которого мы справедливо считали одним из лучших людей на земле. На другой день мы узнали, что решением педагогического совета Смилга исключен из гимназии.

Боже мой, что поднялось! Мы сразу поняли, что нас хотят проучить, - шестой "б" был одним из самых беспокойных классов. Негодовали - впрочем, сдержанно - даже любимцы Бекаревича, поляки. Возмущение охватило всех, кроме разве что Чугая и еще двух-трех доносчиков.

Следующий день прошел спокойно, но решено было остаться после уроков. И мы остались, хотя прекрасно знали, что собрания

в гимназии строжайше запрещены. И не только в гимназии.

Никто не знал, что в классе сохранился комитет,- в последнее время мы не собирались. Но накануне собрания комитет решил, что единственным достойным ответом на решение педагогического совета будет однодневная забастовка. Убедить в этом класс было поручено мне.

Я подготовился к своей речи и с первых же слов почувствовал, что говорю то, что класс хотел от меня услышать. Уже я и помнил и не помнил себя, уже успел походя высмеять Чугая, записывавшего что-то (очевидно, мою речь) в тетрадку, уже мурашки бежали по спине от волнения, когда дверь распахнулась и вошел директор. Не знаю, почему он был в этот день в парадном мундире, с большой звездой на груди. Он был - или показался мне - неестественно громадным, точно вылитым из зеленоватой стали. Гладко зачесанные серо-седые волосы блестели, лицо гневно разглажено - таким я никогда еще его не видел. Класс встал, когда он появился в дверях; он сделал повелительный знак рукой. Все сели - и я продолжал свою речь. Теперь я говорил о том, что исключение Смильги, мало сказать, несправедливо, но оскорбительно, потому что он исключен не за то, что, пользуясь подстрочником, переводил Овидия, а по совершенно другой причине, о которой, надо полагать, не упоминалось на педагогическом совете.

Было именно так - и директор, без всякого сомнения, знал об этой причине, которая носила скорее политический характер. Ходили слухи, что Смильга сочувствовал большевикам: подстрочник был здесь только предлогом. А среди наших преподавателей самым правым из правых был Бекаревич.

Директор крикнул: "Молчать!" Я замолчал. Мне стало страшно. Не помню, сказал ли я еще что-нибудь. Теперь для меня было важно только одно -показать, что я его не испугался, и, кажется, это мне удалось...

Принимаясь за свою книгу, я просил немногих моих одноклассников - в том числе инженера Арнольда Моисеевича Гордина - поделиться со мной своими воспоминаниями. Вот что он написал: "Идет общее собрание класса, председательствуешь ты, стоишь на кафедре. В класс с шумом врывается директор и начинает кричать, что всякие собрания недопустимы, требует, чтобы мы немедленно разошлись. Но ты с неожиданным для нас спокойствием обрываешь директора, говоришь, что слова ему не давал, и собрание продолжается. Вероятно, это был один из самых героических поступков в твоей жизни - так отшить этого толстого дядю в форме действительного статского советника. Самое интересное, что директор действительно ушел".

Я не "отшивал" директора, это было невозможно. В последних словах своей речи я сказал что-то о самолюбии, и он оглушительно закричал:

- Спрячьте ваше самолюбие в карман!

Он не наставлял нас, не поучал. Он не занял моего места на кафедре. Сквозь зубы, но достаточно внятно он сказал:

- Кучка безумных ораторов получит достойный урок.

Потом он действительно потребовал, чтобы мы немедленно разошлись. Но мы не разошлись. Когда он вышел, класс единогласно - на этот раз полуподнял руку даже Чугай - решил согласиться с моим предложением и объявить однодневную забастовку.

2

Вечером комитет собрался снова, на этот раз у меня. Надо было обдумать план действий. Когда после собрания Алька спросил: "Слово?" - и весь класс ответил: "Слово!" - это значило многое. Но далеко не все. Можно было не сомневаться в поляках, хотя они и держались в стороне. Но среди нас были трусы, которые стыдились товарищей и только поэтому согласились на забастовку. Были мальчики, с которыми родители и не разговаривали иначе, как держа в руке ремень. И наконец - что делать с Квицинским, который рисковал оказаться на улице, раздетый и разутый, потому что он был племянником Бекаревича и жил в его квартире?

Решения, которые принял комитет, и теперь удивляют меня своей трезвостью. Прежде всего мы согласились разрешить Квицинскому пойти - это только подчеркнет единодушие класса. На всякий случай решено было выставить на подходах пикеты - причем из числа пикетчиков мы предусмотрительно исключили Смильгу.

Было очень важно, чтобы нас поддержали другие классы - седьмой, например, в котором учились старший Гордин и его близкий товарищ Крейтер - умные ребята, которые могли дать дельный совет.

У меня мелькнула мысль, что с помощью старшеклассников удастся поднять всю гимназию - многие из них были деятельными участниками ДОУ, но Алька, задумчиво пощипывая белый пух под носом, высмеял меня в двух словах.

Мы учились во вторую смену, и утро я провел в бесполезной, взволнованной беготне между членами комитета. На

Сергиевской, которую немцы почему-то не переименовали, я встретил веселого замерзшего Панкова, того самого георгиевского кавалера, который два года тому назад чуть не проломил мне голову кастетом. Он остался в пятом классе на третий год, его выгнали, он поступил в милицию, а когда милиция снова стала полицией, просто шлялся по городу без дела. Я рассказал ему о нашей забастовке, и он так загорелся, что спросил даже: "Стрелять?" - очевидно намереваясь первого же штрейкбрехера уложить на месте. У него дома был наган. Я сказал, что стрелять пока не надо.

День был морозный, и мы с Алькой, стоявшие в пикете у Поганкиных палат, замерзли, не спуская глаз с хлопающей двери гимназии. Другие пикеты стояли на Гоголевской - братья Матвеевы, Гордин и Рутенберг.

Решено было, что разговор с штрейкбрехерами - если они появятся -надо начинать мирно, с попытки убедить, а уж если... Мы с Алькой были самые сильные из нашей компании и знали, что надо делать, если убедить не удастся.

И штрейкбрехер нашелся - правда, только один. Толстяк Плескачевский, тот самый, который заснул на опере "Сельская честь", обойдя дальние пикеты, вышел из проходного двора, пугливо оглядываясь и по-медвежьи подворачивая ноги. Я собрался было приступить к переговорам, и, возможно, они произвели бы впечатление, если бы Алька, просто из предосторожности, не взял его за отворот шинели. Плескачевский рванулся, пуговицы отлетели, и мы, подхватив его под руки, затащили обратно в подворотню проходного двора. Тут уже было не до переговоров. Он укусил Альку за руку, мы отлупили его по розовым щекам, и он кинулся бежать от нас - не в гимназию. Я подобрал учебники, рассыпавшиеся в драке, догнал Плескачевского, сунул ему учебники и сказал:

- Подлец!

Забастовка удалась. Пришел только Квицинский и был разумеется, немедленно отпущен домой.

Потом мы узнали, что Борода допрашивал его до полуночи, и, надо полагать, это был пристрастный допрос.

На другой день мы явились в гимназию как ни в чем не бывало - и день прошел спокойно, хотя скрытое напряжение чувствовалось во всем: старшеклассники собирались группами в

актовом зале и торопливо расходились, когда мимо проходил преподаватель. Директор не показывался. Эмоция, у которого в торжественные или тревожные дни был остолбенело-свирепый взгляд, так и выглядел - остолбенело-свирепым.

С ощущением опасной неопределенности нашей победы я вернулся из гимназии, поужинал и только что собрался приняться за чтение, когда в окно моей комнаты постучала Валя. Как сейчас помню ее, взволнованную, задохнувшуюся (она бежала), почему-то не в берете, а в платке, накинутом на голову и плечи. Она вошла в мою комнату и сказала:

- Только что кончилось заседание педагогического совета. Весь класс исключен.

- Быть не может! Кто вам сказал?

Она назвала Наташу Коржавину, свою подругу.

- Пять-без права поступления. ...Это значило, что кто-то выдал наш комитет.

- А все остальные должны покаяться и дать клятву, что больше никогда не будут устраивать забастовок.

Как передать странное чувство, с которым, проводив Валу, я побежал -уж не помню, к Гордину или Гирву? Это было и нетерпение, точно мне хотелось, чтобы самый факт моего исключения подтвердился немедленно, сию же минуту,-я с трудом удержался, чтобы не сорвать герб с фуражки. И злость! И восторг! Не знаю, откуда взялся этот восторг, от которого мне становилось и весело и страшно.

Комитет собрался немедленно, и вот что было решено: спокойно выслушать постановление, парами выйти из класса - и немедленно кинуться в другие, старшие классы, чтобы снять их с уроков. Кто знает, а вдруг и в самом деле удастся устроить общую забастовку? На следующий день мы молча заняли свои парты... Звонок. Донесшийся из коридора топот ног опоздавших гимназистов, занимавшихся в соседнем классе. Еще несколько минут тревожного, томительного ожидания.

Дверь распахнулась. Вошел Эмоция - белый, насуспенный, с бумагой в руках - и Бекаревич. Они устроились за столом, и до меня - я сидел на первой парте - донесся слабый запах водки. Бекаревич пил и, должно быть, хватил лишнего в этот исключительный день.

Держа бумагу в дрожащих руках, Эмоция дрожащим голосом прочитал постановление педагогического совета.

Оно не сохранилось в бумагах Псковской гимназии, которые я просматривал в городском архиве. Жаль, потому что в конце длинного, торжественного постановления было что-то о забастовке, впрочем в неясных выражениях. В первой четверти

всем, в том числе и Квицинскому, была выставлена двойка по поведению.

- За всю историю нашей гимназии,- поучительно сказал Емоция,- это первый и, будем надеяться, последний случай.

Все встали и, как было условлено, парами вышли в коридор. Вышли - и с разбега кинулись в седьмой, где учились Гордин и Крейтер. Добежали - и остановились в дверях. Класс был пуст. Кто-то крикнул:

- Айда в восьмой!

Но и в восьмом не было ни души. Директор предусмотрительно распорядился, чтобы вся гимназия была отпущена по домам, с первого урока, еще до начала занятий.

- В Ботанический! - крикнул Алька.

И мы со всех ног побежали в Ботанический, как будто именно там, в занесенном снегом Ботаническом саду с красивой, вдоль крутого обрыва, аллеей, могли найти защиту от несправедливости и насилия. В овраге лежал плоский, заросший мхом камень - память о Раевском, основателе Ботанического сада. Мы столпились вокруг него, разгоряченные, возмущенные, а некоторые испуганные, кислые и, очевидно, уже подумывавшие о том, чтобы подать, пока не поздно, покаянное заявление.

И скоро стало ясно, что подадут почти все. Пансионеры - потому, что они жили в гимназическом пансионе, и если откажутся, для них останется только одно - идти побираться. Поляки - потому, что они надеялись, что война скоро кончится и они вернутся в свои Петраховскую и Ченстоховскую гимназии.

Хаким Таканаев сказал, что он тоже подаст, потому что ему будет худо, если он не подаст. Он не стал объяснять, но все поняли, что тогда отец избьет его до полусмерти. Он вдруг заплакал, и всем стало страшно, когда, плача, он почему-то стал мять руками осунувшееся скуластое лицо...

Формула "пять без права поступления" была всего лишь хитрым ходом педагогического совета. В сущности, это я был "волчий билет", но что он значил теперь, когда за взятку - а немцы, стоявшие под Торошином, охотно брали даже скромные взятки - любой из нас мог уехать в Петроград и там спокойно кончить гимназию? Не прошло и месяца, как наши родители были приглашены к директору, который дал им понять, что, если мы в любой форме напишем покаянные заявления, "кучка

безумных ораторов" займет свои парты. Но мы держались. Мы ходили в фуражках с сорванными гербами и держались, хотя неясно было, что произойдет, например, с братьями Матвеевыми, когда вернется из командировки их отец, полицейский пристав. Мы держались, хотя однажды утром Алька пришел заметно изменившийся, с расстроенными глазами: ночью отец разговаривал с ним - не упрасивал, не настаивал, а только сказал, что это было тяжело для него - платить за Альку в гимназию - и что он, Алька, был надеждой семьи.

Мне было легче всех: еще в прошлом году, когда мать получила "извещение", приглашавшее ее к инспектору по поводу поведения младшего сына, она написала на оборотной стороне: "Считаю сына достаточно взрослым, чтобы он мог сам отвечать за свои поступки". Мать не упрасивала, не настаивала. Может быть, она молчала, потому что каждый день с раннего утра вся наша компания усаживалась за книги.

Нельзя сказать, что я был ленив - учился на тройки, четверки. Кроме математики, мне легко давались почти все предметы. Но так усердно я еще никогда не занимался. Более того, мне и в голову не приходило, что я способен, почти не выходя на улицу (только вечерами, на полчаса, чтобы повидаться с Вале́й), сидеть над геометрией, которую не любил, или зубрить наизусть Овидия, которого можно было и не зубрить наизусть. По математике мы занимались вместе, и, должно быть, все-таки ничего не получилось бы из этих занятий, если бы нам не помог один из товарищей старшего брата - Леша Агеев. И бесконечно важно было для нас не только то, что без него мы напрасно теряли бы время, а то, что он сам вызвался помогать нам! Он сочувствовал нам, он был за нас. Он - сам преподаватель Агаповской гимназии - был возмущен тем, что наш класс исключили...

Мне кажется теперь, что привычка к добровольному, никем и ничем не подстегиваемому труду открылась во мне именно в эти недели. Это было, если можно так выразиться, "наслаждение самопринуждения" - я чувствовал гордость, распоряжаясь собой.

Полицейский пристав вернулся, Матвеевы подали заявление, и мы остались одни - Гордин, Гирв и я. У нас были разные склонности: у одного лучше шла математика, у другого - латынь. Никогда еще мы с такой охотой не помогали друг другу. В два месяца мы обогнали класс почти на полгода. Только однажды в наши занятия с Агеевым, который был спокойно-требователен и очень сдержан, ворвалась неожиданность - одна из тех, которые волей-неволей запоминаются навсегда. Когда мы решали какую-то сложную задачу на построение, в окно постучали, и чей-то голос сказал протяжно:

- Солнышко!

У Агеева стало строгое лицо, ребята засмеялись. Под окном стояла Валя. Возможно, что у нее были основания называть меня так иногда. Все равно, сперва надо было выяснить - один ли я, да и достаточно было того, что она постучала.

Я в бешенстве выскочил во двор. Не помню, что я наговорил ей. Она повернулась и ушла.

Это была наша первая ссора, и, когда занятия кончились, я распахнул форточку и выглянул, точно Валя еще могла стоять под окном. Как внимательно, как грустно слушала она меня, не зная, что ответить, как загладить неловкость! И я решил, что вечером непременно пойду к ней и попрошу извинения за то, что я так грубо разговаривал с ней.

Сопоставляя воспоминания школьных друзей, я все больше убеждаюсь в том, что наша забастовка была прямым отражением того, что происходило в городе зимой 1918 года.

Как я уже упоминал, при исключении нашего товарища шпаргалка была предлогом. Причина была в "политике". Забастовка была нравственно-политической, и хотя никто из нас не мог выразить словами этого ощущения нравственной правоты, его чувствовали даже те, кто прекрасно жил под немцами и не хотел, боялся возвращения красных. Никто не мог заставить время вернуться назад. Мы хлебнули свободы, и перестроить сознание по старому образцу оказалось уже невозможным.

И еще одно: на нашей стороне была грозная сила - неопределенность. У Торошина стояли наши, за линией фронта распахнулось беспредельное пространство России. Ходили слухи один страшнее другого, но правду знали лишь те, кто стремился ее узнать. Все было сдвинуто, спутано, неясно...

Нечто нравственно-политическое было и в дуэли между Толей Р. и Левкой Гвоздиковым, о которой я хочу рассказать.

Вечеринки устраивались и "под немцами" - невеселые хотя бы потому, что Люба Мознаим, наша всегдашняя хозяйина, должна была следить, чтобы все получили поровну - скажем, по одному куску хлеба с соленым огурцом или по два куска сахара, не больше и не меньше. В этот вечер к нашей компании присоединился Левка Гвоздиков, ученик выпускного класса Коммерческого училища.

Я рано ушел, рано лег спать. Толя, который тогда еще жил у нас, вернулся после полуночи и сказал, что он просит меня быть его секундантом. Завтра он дерется с Гвоздиковым на дуэли. В восемь вечера, на Степановском лужке.

Я знал, что между ними каждую минуту могла вспыхнуть ссора. В Гвоздикове Толю раздражало все - и мнимая демократичность, и мнимая начитанность - он любил щеголять цитатами из Шопенгауэра, которого не читал, - и внешность. Гвоздиков был грубо-плечистый, с гривой прямых волос, которыми он постоянно взмахивал с какой-то лихостью, тоже неприятной.

- Из-за Шопенгауэра?

- Черт его знает! Да.

- Или из-за горжетки? - спросил я, слушая Толю, который от Шопенгауэра перешел к какой-то горжетке, которую он хотел застегнуть на Соне Закликовской, а Левка выхватил, накинул и сам застегнул.

- Потому, что он - грязный шут,- мрачно сказал Толя.

Он разделся, лег и мгновенно заснул.

Толя был влюблен в Соню Закликовскую, гимназистку восьмого класса Мариинской гимназии, а влюблялся он всегда бешено, страстно. Соня была тоненькая, высокая, гибкая девушка, с удлиненным лицом, с улыбающимися глазами. Я помню, как в холодный январский день она, зачем-то заглянув к нам, сказала замерзшими губами: "А весной все-таки пахнет!"

2

Утром я долго доказывал Толе, что, как социалист, он вообще не имеет права драться на дуэли. Он слушал, поглядывая на меня исподлобья.

- А Лассаль?

- Послушай,- сказал я негромко,- ты думаешь, я не знаю?

Он понял. Подпольщики работали в Пскове, и он, без сомнения, был одним из них. У него-то как раз была политическая голова. Он нахмурился.

- Об этом я вчера не подумал. Вообще - чего ты беспокоишься? Я его убью.

- Ты, брат, не убьешь и мухи.

- Посмотрим.

Он ушел в свою комнату, а когда я, спустя полчаса, постучал к нему, крикнул:

- Иди к черту!

На другой день я пошел к Соне и сказал, что как секундант я обязан скрывать место и время дуэли, но на всякий случай пусть она запомнит, что они будут драться сегодня вечером на Степановском лужке. Она испугалась, но не очень, гораздо меньше, чем я ожидал. Она только повторяла: "Какой ужас!", а один раз нечаянно сказала: "Ужась" - и засмеялась.

Она соврала, что идет на урок музыки, и даже взяла папку с нотами, но на самом деле - я был в этом уверен - Толя должен был встретиться с ней у Шурочки Вогау.

Я вернулся домой с неприятным чувством, как будто просил ее пощадить Толю, а она отказалась.

...Не знаю, где весь этот день прошатался Толя. Я что-то

сказал ему, но он, не слушая, рванулся к буфету и стал жрать хлеб. Сине-зеленый, с запавшими глазами, он глотал не прожевывая. Я испугался, что он подавится, но он счастливо засмеялся:

- Теперь-то? Дудки!

- Что ты хочешь этим сказать?

Вместо ответа он с бессмысленной улыбкой закрыл глаза и немного постоял, качаясь. Потом снова стал торопливо жевать.

3

Было светло как днем, когда мы наняли извозчика и поехали на Степановский лужок. А я-то еще надеялся, что в темноте зимнего вечера Гвоздикив промахнется! С тех пор как немцы заняли Псков, уже в семь часов становилось тихо и пусто. Только на Сергиевской стояла очередь у публичного дома, и теперь, когда мы ехали мимо, тоже стояла. В освещенных окнах мелькали растрепанные девицы, солдаты громко разговаривали, смеялись, а из ворот, оправляя мундиры, выходили другие.

Я вспомнил, как однажды мы с Гвоздикивым купались и как, вылезая из воды, он неприятно дурачился, встряхивая длинными волосами. У него была взрослая, прыщавая грудь. В сравнении с нами - со мной и Толей - он был взрослый, давно уже знавший и испытывший то, о чем мы избегали упоминать в наших разговорах. Он рассказывал с грязными подробностями о том, что не раз был в этом публичном доме,- и ведь мы слушали его с интересом. Все знали, что Левкина мать, докторша, мучается с ним и что он подло пристает к девушке, сироте, которая жила у Гвоздикивых,- просто не дает прохода. Однажды я зашел к нему. В комнате был таинственный полумрак,

Левка с книгой в руках сидел у камина. И вдруг вошла с подносом -принесла нам чай - эта девушка, в платочке, накинутом на узкие плечи, с усталым лицом...

Город как будто отнесло далеко направо, и впереди показалась чистая светлая река - голубая от луны и снега. Гвоздикив со своим секундантом Кирпичевым обогнали нас и нарочно поехали почти рядом. Кирпичев тоже был выпускником Коммерческого училища - надутый, с выражением твердости на квадратном лице. Все на нем было новое - шинель, поблескивающие ботинки. Он носил не измятую фуражку, как это было модно еще в прошлом году, а горчащую, с поднятым сзади верхом, как немецкие офицеры.

Недалеко от Ольгинского моста санки остановились, Гвоздилов вышел, и я увидел, что по набережной к нему кто-то бежит. Было так светло, что я сразу же узнал Флерку Сметанича, тоже "коммерсанта", плотного парня с тупым добродушным лицом. Уже и по тому, как он, пошатываясь, бежал по набережной, видно было, что он сильно навеселе. Гвоздилов посадил или, точнее, положил его в санки, и они поехали дальше, вновь обогнав нас за Ольгинским мостом. Они громко пели - тоже, без сомнения, нарочно.

Толя молчал, опустив голову. Я понял, что ему стыдно за них.

Извозчики остались возле прогимназии Барсукова, а мы пошли дальше по набережной, к Степановскому лужку. Почему он назывался "лужком"? Не знаю. Это был большой заливной луг на берегу Великой, летом - ярко-зеленый, с душистыми травами - любимое место гуляний псковских мастеровых. Теперь пустая равнина холодно блестела под луной. Где-то сверкнула протоптанная узкая тропинка, мы свернули на нее, пошли гуськом, и я оказался в двух шагах от Гвоздилова, почти вплотную за его спиной. Два столбика стояли по сторонам тропинки, перегородив ее, чтобы по лугу не ездили на телегах.

Почему с такой остротой запомнились мне эти столбики? Потому что, поравнявшись с ними, я тронул Гвоздилова за плечо и сказал негромко:

- Лева.

Он обернулся.

- Что же, Лева? Неужели убьешь человека?

Мы знали, что Гвоздилов был охотник, меткий стрелок, не раз хваставшийся, что может попасть в подброшенную монету. А Толя, хотя, читая о народовольцах, я так и видел его рядом с Желябовым и Софьей Перовской, никогда не держал в руках револьвера.

- Убью,- ответил Гвоздилов твердо.

Мы свернули с тропинки и прошли недалеко по глубокому снегу. Все молчали.

- Ну, хотя бы здесь,- сказал Кирпичев.

В руках у него был стек. Наклонившись, он провел по снегу черту.

Забыл упомянуть, что, когда мы оставили извозчиков у прогимназии Барсукова, Сметанич выкатился из санок и поплелся за нами. Никто не обращал на него внимания. Но когда Кирпичев предложил мне отмерить десять шагов, Флерка с удивлением огляделся вокруг и громко спросил:

- Ребята, я не понимаю, что происходит?

Стараясь делать огромные шаги, я сосчитал до десяти и

остановился. Мне хотелось двинуться дальше, но Кирпичев сказал подчеркнуто вежливо:

- Виноват...

Я вернулся.

Гвоздилов встал у черты и скинул на снег шинель. Он был в штатском, в новом костюме, с торчащим из наружного кармана платочком. Он снял и пиджак, хотя было очень холодно, и остался в белой рубашке с бантиком, с накрахмаленной грудью. Толя спросил весело:

- Как? Раздеваться? Брр...- И, подумав, тоже сбросил шинель.

Он стоял отчетливый, как силуэт, в гимназической курточке, на фоне снежного сугроба, переходившего за его спиной в маленький овальный холм. Кирпичев раздал пистолеты.

- Ребята, вы что, ошалели? - крикнул Флерка. Все сделали вид, что не слышат, хотя теперь было ясно, что выпивший "коммерсант" окончательно протрезвел.

Кирпичев спросил деревянным голосом:

- Не желают ли противники помириться? Предупреждаю, что в этом случае вызванный на поединок должен публично попросить у вызвавшего прощения.

- Как, просить прощения? - спросил Толя. - Э, нет! К черту! Тогда будем стреляться.

Ничего нельзя было остановить или изменить - и я горестно понял это, когда он прицелился, крепко зажмутив один глаз, и его доброе лицо стало жестоким, с поехавшей вперед нижней губой.

И вдруг все действительно изменилось, остановилось... Раздался крик -что-то матерное - и Флерка со всех ног кинулся к Гвоздикову, который не спеша, бравируя, поднимал пистолет...

О Флерке я до сих пор знал только одно: он швырялся деньгами, которые таскал из кассы отца, владельца табачного магазина. На каком-то аукционе он купил за неслыханные деньги китайский бумажный зонтик и тут же подарил его своей девице. Но вот оказалось, что этот парень, безуспешно притворявшийся гусаром, не лишен здравого смысла. Барахтаясь с Левкой в снегу и стараясь вырвать у него пистолет, он кричал, что в двух шагах отсюда Балтийский кожевенный завод, выстрелы могут услышать немцы, и тогда несдобровать ни дуэлянтам, ни секундантам. Он кричал, что можно устроить товарищеский суд или, на худой конец, просто набить друг другу морду...

Успокоившись, он взял своего товарища под руку, и, вернувшись на тропинку, они стали ходить туда и назад. Не знаю, о чем они говорили,-доносился только неясный, низкий, горячий голос Флерки: без сомнения, он убеждал Гвоздикова помириться с

Толей. Наконец вернулись.

- Ну, собаки, мир! - сказал он.- И чтобы у меня больше этого не было. Впрочем, с условием: ты первый протянешь Левке руку.

Толя молча отдал Кирпичеву пистолет и протянул руку. Но долго держал он ее протянутой - все время, пока Гвоздииков одевался, неторопливо застегивая на все пуговицы шинель.

Так было и на том собрании, когда столичные осузовцы убеждали нас помириться с правыми: протянутая рука и долгое ожидание.

У Толи было грустное лицо, с добрым, исподлобья взглядом. Кроме стыда за Гвоздиикова, который наконец пожал его руку, он ничего не чувствовал -для меня в этом не было ни малейших сомнений.

Так кончилась эта история, и, размышляя над ней, я думаю, что память не случайно ее сохранила. В ней были и тоска несвободы, и растерянность, и раздражение, искавшее и не находившее выхода. В ней было и то противоречие между понятиями "быть" и "казаться", с которым, случалось, я сталкивался в себе самом. Если Гвоздииков казался мне живым воплощением понятия "казаться", Толя всегда "был" - и будущее трагически подтвердило всю опасность его прямоты.

"ПАУКИ И МУХИ"

Я уже упомянул о том, что мог бы написать эту книгу с большей полнотой - иные друзья моей юности лишь промелькнули на ее страницах.

С Колей Павловым, нянькиным сыном, который до десяти лет жил у нас, судьба развела нас в 1912 году. Вопреки настояниям моей матери, которая была готова платить за Колю в гимназию, нянька отдала его в типографские ученики, и с тех пор мы почти не встречались. В ту пору, о которой я рассказываю, он был невысоким плотным юношей, русым и сероглазым, с некрасивым добрым лицом. Главной чертой его была совесть - в этом отношении он напоминал Толю. Он всегда отвечал не только за себя, но и за других, если они делали не то, что соответствовало его, может быть, и неосознанным нравственным понятиям. Я вполне убедился в этом лет через десять, выслушав длинную, невнятную грустную историю его жизни. Он был осторожен, и, хотя я так и не узнал, принадлежал ли он к псковским подпольщикам, по некоторым намекам нетрудно было догадаться, что время от времени он переходил линию фронта. Газеты, листовки, а иногда и отдельные номера журналов, которые он приносил, Гордин и я читали запершись, с острым чувством опасности и восторга. Иногда к нам присоединялся Женя Рутенберг, который доказывал, впрочем, что разумнее

взрывать немецкие мотоциклетки, чем читать советские газеты. Ему удалось взорвать за товарной станцией фугасы, которые могли бы пригодиться немцам, если бы они вздумали нарушить Брестский мир. Как известно, именно это и случилось.

Перебирая книги из склада Совдепа, я развернул наконец самую тяжелую пачку, которую мы с Алькой с трудом унесли на палке. Это была брошюра Вильгельма Либкнехта "Пауки и мухи" - тонкая брошюра в трех или четырех сотнях экземпляров. Моего знания немецкого языка хватило, чтобы понять (не без труда) несложную мысль автора, который убедительно доказывал, что капиталисты - пауки, а рабочие - мухи.

Коле Павлову пришло в голову, что недурно было бы раздать эти брошюры немецким солдатам. Я участвовал в этой операции только два раза - вместе с одним реалистом из религиозной еврейской семьи.

Мы выбрали солдата в очках, с интеллигентным лицом. Реалист попросил у него на ломаном еврейско-немецком языке несколько сигарет. Солдат отдал нам пачку, мы пошарили в карманах и вместо денег всучили ему "Пауков и мух". Солдат взял брошюру, серьезно посмотрел на нас и зашагал, тут же принявшись за чтение. Уходили мы, как было условлено, не торопясь, и это было самое трудное, потому что хотелось бежать.

Точно так же действовал Коля. Среди рабочих городской типографии были люди, говорившие на немецко-еврейском языке не хуже, чем мой реалист. Словом, дело пошло. Через две-три недели добрая половина "Пауков и мух" исчезла из нашего дома.

...Я был у Гордина, когда в их квартиру зашли двое в штатском - молодой человек с неестественно белым, известковым лицом, с белыми ресницами и красными глазами и скучный пожилой мужчина, с жидкой бородкой, в длинном потертом пальто.

Если бы мать Арнольда не прислала к нам его трехлетнего братишку, мы не догадались бы, что это - обыск. Очень хорошенький мальчик в бархатной курточке с бантиком вошел и весело сказал:

- А мама велела тебе, чтобы сгорели газеты.

В комнате топилась голландская печка. Минуты не прошло, как в топку полетела вся наша подпольная литература.

Квартира была большая, голоса слышались еще издали. Но вот сыщики пришли к нам - тогда-то я впервые в жизни и увидел перед собой альбиноса. Кажется, они удивились, взглянув на предполагаемого подпольщика. Худенький, маленький, узкоплечий Арнольд был годом моложе меня, ему недавно минуло пятнадцать. Впрочем, это не остановило их. Альбинос

стал внимательно перелистывать книги, лежавшие на столе, - искал листовки. Пожилой записал мое имя и фамилию и сказал:

- Можешь идти.

Не помню, когда еще я был так перепуган: из альбиноса как будто вынули все человеческое и оставили только способность хлопать белесыми веками и таращить красные глаза. "Времена были суровые,- пишет мне в недавнем письме Арнольд.- Если бы нашли газеты и листовки, могли бы и вздернуть".

Надо отдать должное сестре Лене, которая возилась у раскаленной плиты, готовя какие-то отвары для дочки. С первого взгляда на вороха бумаги, которые я притащил из своей комнаты, она поняла, в чем дело. Мгновенно сняла она с плиты все кастрюли, сбросила конфорки, и в поднявшийся, полыхнувший из плиты огонь мы стали бросать газеты, листовки и - увы - оставшихся "Пауков и мух", которых хватило бы, пожалуй, еще на два-три взвода. Была серьезная причина торопиться: кто знает, может быть, сыщики шли следом за мной и с этой-то целью, почти не расспрашивая, отпустили?

Но никто не пришел. Через четверть часа кастрюльки с отварами снова стояли на плите. Я засел в комнате и стал ждать продолжения событий.

Продолжения не было. У Арнольда ничего не нашли. Через два-три дня почему-то арестовали его отца, но за крупную взятку отпустили.

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ. ОСЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО

Мы с Сашей съездили в деревню, и очень удачно: старые портьеры променяли на полтора пуда картошки. С вокзала нас подвез ломовик - это тоже было кстати. Хотя Саша, занимавшийся сокольской гимнастикой, был вдвое сильнее меня, мы измотались бы - от станции до Гоголевской было далеко.

Я втащил свой мешок в сени, трахнул об пол - и замер: знакомый баритон фальшиво пел: "Утро туманное, утро седое",- и это был голос Юрия, сейчас же оборвавшего свой романс и весело закричавшего сестре: "Леночка, ушло!" Ушло молоко.

Я влетел в кухню. Юрий стоял у плиты, похудевший, полуодетый, в студенческой тужурке, накинута на пижаму.

...Красивый, с вьющейся густой шевелюрой, выглядевший лет на двадцать, хотя ему шел уже двадцать пятый, озабоченный - его дела были плохи,-веселый, он в первый же день приезда обнадежил весь наш полуголодный, томившийся неизвестностью дом. И даже не обнадежил, а как бы преобразил, хотя ничего для этого, кажется, не сделал.

Он не только перешел линию фронта, чтобы повидаться с женой и дочкой. И не только привез какие-то продукты - мед и сало, которые в Пскове можно было купить только за царские деньги. Он ворвался (это я понял не сразу) в тесноту, в напряжение, охватившее весь город,- и раздвинул эту тревожную тесноту одним своим появлением.

Дела его действительно были плохи: дипломная работа о Кухельбекере сгорела во время ярославского мятежа, вместе с библиотекой, которую он собирал с гимназических лет. (В Ярославле жили тогда его родители.) Государственные экзамены он затянул, оставление при университете, на которое рассчитывал, откладывалось на неопределенный срок.

Но что все это значило теперь, когда после волнений и тревог долгой разлуки ему удалось встретиться с женой, похудевшей и похорошевшей, на которую он смотрел добрыми, влюбленными глазами? Дочка, по его мнению, стала похожа на инфанту со своей белокурой изящной головкой на пряменькой шейке.

Он разговаривал с ней изысканно-вежливо: "Сударыня, если не ошибаюсь, вам хочется пи-пи?" Он изображал собаку, кошку,

лошадь - и все было не так: лошадь мяукала, кошка лаяла, собака становилась на задние лапы и заливисто ржала.

Он сажал дочку на колено и, подбрасывая, пел по-немецки:

Wenn der Schneider reiten will

Und hat kein Pferd.

Nimmt er doch ein Ziegenbok

Und reit verkehrt.

(Через несколько лет, когда я начал печататься, мне пригодились эти стихи для рассказа "Бочка":

Портной пустился в путь со зла,

А за коня он взял козла.

Паршивый хвост ему взнуздал,

Его аршином погонял.

Аршином бьет, иглою шьет

И едет задом наперед.

Перевод был вольный.)

В Петрограде, по словам Юрия, была неразбериха, но в этой неразберихе, в этой неизвестности, сменявшей новую неизвестность, было для меня что-то соблазнительное, остро не похожее на Псков, по которому уже ходили с песнями, в строю, одетые в белые полушубки недавние гимназисты и реалисты, вступившие в отряды Булак-Балаховича.

Совет Народных Комиссаров переехал в Москву, и теперь не Петроград, а Москва будет столицей. Кто-то, по-видимому правые эсеры, обстрелял автомобиль Ленина на мосту через Фонтанку. Принят закон об отделении церкви от государства.

Восстание левых эсеров в Москве началось с убийства немецкого посла Мирбаха. Еще в феврале в московском Политехническом музее состоялось избрание "короля поэтов". Первое место занял Игорь Северянин, второе - Маяковский, третье - Бальмонт.

Я спросил:

- А Блок?

Для меня Блок давно был королем поэтов.

- А Блок,- ответил Юрий,- написал "Двенадцать".

Если бы он ничего не рассказал о том, что произошло с февраля по октябрь 1918 года в Москве, в Петрограде, в России, одного только восторженного изумления, с которым Юрий говорил о "Двенадцати", было достаточно для того, чтобы мне страстно захотелось ринуться с головой в этот загадочный, опасный, перепутанный мир. И это несмотря на то, что, десятки раз перечитывая поэму, записанную со слов Юрия, который знал ее наизусть, я почти ничего в ней не понял.

Блок смеялся над писателем, утверждавшим вполголоса (из

трусости?), что "Россия погибла". Но чьими глазами смотрел он на попа, который еще недавно

Брюхом шел вперед,

И крестом сияло

Брюхо на народ?

Кем были эти "двенадцать", державшие "революционный шаг"?

В зубах сигарка, примят картуз.

На спину б надо бубновый туз!..

Бубновый туз на спине носили каторжники, убийцы.

Ванька, по которому стреляют, который пытается увести Катку на лихаче,- солдат, а они - нет, они - "наши ребята", которые пошли

В красной гвардии служить -

Буйну голову сложить!

Они голытьба, им все нипочем. Но, "раздувая на горе всем буржуйам" мировой пожар, они все-таки просят божьего благословенья:

Мировой пожар в крови -

Господи, благослови!

И когда Петруха нечаянно убивает Катку, с его уст все-таки срывается скорбное поминанье:

Упокой, господи, душу рабы твоя...

После музыкальности, которой было проникнуто все что написал Блок, режущие-непривычными были эти "запирайте этажи", этот "елекстрический фонарик", эти грубости повседневной, полуграмотной речи. И только в конце поэмы вступал голос прежнего Блока:

...Так идут державным шагом,

Позади - голодный пес,

Впереди - с кровавым флагом,

И за выюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвыюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз -

Впереди - Иисус Христос.

Так вот кому грозили красногвардейцы! Вот кого они преследуют, вот кому кричат:

Выходи, стрелять начнем!

Вот кого убили бы, если бы он не был "от пули невредим"! Но, может быть, они не преследуют его? Может быть, он ведет их за собой, хотя они не догадываются об этом?

Мне было стыдно признаться Юрию, что я не понял поэму, которую он считал гениальной. Впрочем, у него и времени не

было на литературные разговоры. Он приехал на несколько дней, вскоре пора было возвращаться в Петроград, в университет, к государственным экзаменам, к новой дипломной работе.

2

Саша со дня на день ждал повестку, ему шел девятнадцатый год, и надо было либо прятаться, либо уехать из Пскова. Ежедневно заниматься строем на плацу у Поганкиных палат, учиться верховой езде и ходить по городу с песнями под командой есаула ему совсем не хотелось. Юрий предложил взять его с собой в Петроград, тем более что Саша, учившийся на тройки и просидевший два года в четвертом классе, несмотря на все это, твердо решил кончить гимназию с золотой медалью.

Устройством обратного перехода у станции Торошино занялся почему-то Хилков, тот самый, который был председателем нашего ДОУ и решил стать купцом, потому что это была профессия, "не мешавшая много читать". Очевидно, у него действительно были торговые наклонности - он действовал обдуманно, неторопливо и с толком. Сам ли он сторговался с немцами или через посредников, которые профессионально занимались этим небезопасным делом, - не знаю, но вскоре день был назначен, и Юрий стал готовиться к отъезду.

Конечно, он прекрасно понимал, что мне хочется почитать ему свои стихи, и однажды, когда Инна спала, а ему было приказано немедленно доложить, когда она проснется, он подмигнул мне с доброй улыбкой и сказал:

- Ну, давай!

Помню, что я прочел ему стихотворение, которое ценил главным образом за то, что оно, как мне казалось, ничем не напоминало Блока, прежнего Блока, до "Двенадцати".

Я долго подражал Блоку, и мне казалось, что пора наконец освободиться от этого магического влияния. Помню, что в стихотворении была строчка:

...На рельсы

Прольется жизнь молодого
прозаика.

- Да-а,- внимательно выслушав меня, заметил Юрий.- На Блока не похоже. Совсем не похоже!

Расстроенный, я сложил свои листочки и собрался уйти. Но он схватил меня за руку и заставил сесть.

- А почему прозаика? Разве ты пишешь прозу?

- Да. И не только прозу.
- Пьесы?
- Да. Трагедии в стихах.
- Ого! Как они называются?

Я мрачно ответил, что последняя, только что законченная, называется "Невероятные бредни о совокупном путешествии черта, зрителя морга и студента Лейпцигского университета в женский католический монастырь".

Юрий засмеялся.

- Ну-ка, почитай.

Я начал:

Черт. Почтенный врач, проклятый Спиагудри,
Ленивый смотритель морга в Дронгейме,
Старый шут! Я, конечно, вполне уверен,
Что ты и все твои предки были

Воры. Это - во-первых. Во-вторых и в-третьих.

Мне нужно многое: ты. Черту лучший друг

Привратник мертвых. Да еще к тому же

Ты лыс, высок, сух, стар. Все это очень важно.

Спиагудри. Так ваша милость - черт? Ага. Теперь я вижу,

Что доктор Кун сугубо ошибался,

Доказывая, что обыкновенный черт...

Черт. Молчи. Мне некогда с тобой возиться.

Ну, живо одевайся, и пошли.

Спиагудри. Куда?

Черт. Там будет видно.

Спиагудри. Ваша светлость!

Черт. Дурак! Ты будешь сыт и пьян. К тому же

Я дам тебе полсотни экю.

Спиагудри. Пощадите.

Черт. И двух девиц. Согласен?

Спиагудри. Двух девиц?

Черт. Ну, в дальний путь, милейший Спиагудри.

Инна вздохнула во сне, и, боясь, что сейчас она проснется, я стал читать с такой быстротой, что Юрий, у которого было заинтересованное лицо, сказал негромко:

- Не торопись.

- "Комната студента в Лейпциге",- шпарил я с бешено стучавшим сердцем.

Студент. В далекой снежной России

Запевает призывный рог,

Цветут янтари золотые,

Мадонна, у ваших ног,...

... Задыхаясь, я прочел трагедию до конца. Она была

небольшая, страницы четыре. Инна проснулась. Юрий побежал за женой. На ходу он сказал мне:

- В тебе что-то есть.

И больше - увы - мы не говорили о литературе. До Торошина надо было ехать в телеге, и с этим "в тебе что-то есть" я через два дня провожал его ранним утром, едва рассвело. Он был взволнован, расстроен и даже - что с ним никогда не случалось - прикрикнул на Сашу, который глупо и беспечно острил.

С этим "в тебе что-то есть" я вернулся к себе, принялся за "Фауста", но вскоре захлопнул книгу. Это сказал не Дмитрий Цензор, которому я прочел когда-то беспомощное, детское стихотворение и который сам писал - теперь это было ясно для меня - плохие стихи. Это сказал Юрий. "В тебе что-то есть". Как жаль, что я не успел прочитать ему и мою вторую трагедию, которая называлась "Предсмертные бредни старого башмачника Гвидо"!

Я не знал тогда, что придет время, когда я буду горько корить себя за то, что не записывал наших ежедневных в течение многих лет разговоров. Его ждет трудная жизнь, физические и душевные муки. Его ждет комнатная жизнь, книги и книги, упорная борьба с традиционной наукой, жестокости, которых он не выносил, признание, непризнание, снова признание. Рукописи и книги.хлопоты за друзей. непонимание, борьба за свою, никого не повторяющую сложность. Книги - свои и чужие. счастье открытий. Пустоты, в которые он падал ночами...

Я не знал тогда, что его неслыханная содержательность на всю жизнь останется для меня требовательным примером. Что и после своей безвременной смерти он останется со мной, поддерживая меня в минуты неверия в себя, безнадежности, напрасных сожалений. Что в самом нравственном смысле моего существования он займет единственное, как бы самой судьбой предназначенное место.

НЕМЦЫ УШЛИ

Казалось бы, ничего не переменилось в городе после отъезда Юрия осенью восемнадцатого года. Солдаты по-прежнему шумели в бирхалле и стояли в очереди у публичного дома, офицеры с моноклями по-прежнему гуляли по Сергиевской, надменно приветствуя друг друга. Но что-то переменилось.

В городском саду, на темной аллее, гимназисты набили физиономию немецкому офицеру и ушли как ни в чем не бывало.

Во дворе кадетского корпуса по-прежнему маршировали, погусиному выкидывая ноги, солдаты. Однажды - это было на моих глазах - один из них спросил о чем-то офицера, тот резко ответил, и начался громкий, с возмущенными возгласами, разговор между

солдатами, стоявшими в строю,- еще недавно ничего подобного и вообразить было невозможно. Я нашел среди солдат того интеллигентного, в очках, которому мы с реалистом всучили "Пауков и мух", и решил, что это - наша работа. Но потом оказалось, что для взволнованного разговора в строю были более серьезные основания: Германия проиграла войну, кайзер Вильгельм бежал в Голландию, и династия Гогенцоллернов прекратила свое существование.

...Похоже было, что немцы потеряли интерес к тому, что происходило в городе. Они собирались уходить - это было совершенно ясно. Но почему, прежде чем уйти, они занялись вывинчиванием медных ручек сперва в гостиницах "Лондон" и "Палермо", потом в учреждениях и, наконец, со все возраставшей энергией - в частных домах? На вопрос нашего домовладельца Бабаева (который долго, грустно смотрел на следы, оставшиеся от больших ручек, украшавших парадные двери) herr Oberst ответил кратко:

- Приказ.

Не помню, чтобы тогда, в восемнадцатом году, кто-нибудь объяснил мне смысл этого приказа. Уже в наши дни я узнал, что ручки из цветного металла были нужны для производства оружия. Но может ли быть, чтобы, только что проиграв войну, немцы стали готовиться к новой?

Немцы ушли, herr Oberst вежливо простился с мамой - может быть потому, что она одна хорошо говорила по-немецки, а может быть потому, что он, с полным основанием, считал ее главой нашего дома. В гостиной, где он жил, еще долго чувствовался сладковатый запах табака - он курил трубку. Я и прежде не любил эту комнату с ее шелковым потрепанным гарнитуром, а теперь стал заходить в нее только на час-полтора, когда надо было позаниматься на рояле. Я стал учиться поздно, в четырнадцать лет, увлекся, быстро продвинулся и так же быстро остыл. Искать причину, чтобы бросить занятия, не приходилось - причин было много. Я выбрал самую простую: в комнате было холодно, и пальцы стыли. После отъезда немца в гостиной перестали топить.

Немцы ушли, и хотя под Торошином сразу же начались бои, как-то удалось узнать, что Юрий с Сашей благополучно добрались до Петрограда.

Деньги, мыло и папиросы "Сэр" действовали, и караулы, как было условлено, пропустили "большевиков" (так они называли Юрия и Сашу) через линию фронта. Но наши, очевидно, усомнились, что они - "большевики". Они уложили бы их на месте, если бы Юрий не потребовал, чтобы его провели к Яну Фабрициусу, который командовал фронтом. Фабрициус -

громадного роста латыш с великолепными усами - сказал Юрию, что он подослан белыми, и Юрий, глубоко оскорбленный, накричал на него. Это произвело впечатление, и они, уже спокойно, поговорили о положении в Пскове. Город, с точки зрения Юрия, был "в состоянии испуганного онемения".

- "Как кролик"...-начал было он - и спохватился.

- "Перед разинутой пастью удава",- спокойно закончил Фабрициус.

Потом привели Сашу, но и он оказался не робкого десятка. Ответил на вопросы смело и с толком - и Фабрициус не только отпустил их, но даже приказал устроить на поезд.

"Испуганное онемение",- сказал Юрий, и это было действительно так. Белые продержались в городе недели две, и это были недели похоронные -почти каждый день кого-нибудь провожали. Из знакомых гимназистов были убиты Юрий Мартынов, старший брат Андрея, и Ваня Петунин, веселый розовый мальчик, учившийся в одном классе с Сашей и однажды заглянувший к нему, чтобы покрасоваться новенькой офицерской формой.

Его отец - "Чаеоторговля Петунина и Перлова" - сказал в городской думе речь, в которой с горечью спросил: кто виноват в смерти его сына? За что он голову сложил? За свободу? Где она, эта свобода?..

Я плохо помню день, когда белые отступили и наши заняли город,- без сомнения, по той причине, что к вечеру этого дня произошло событие, заслонившее в моей памяти все другие.

Уже было известно, что миллионер Батов пытался бежать, попался и, по слухам, расстрелян на месте (его дом с единственным в Пскове мозаичным фасадом, на котором изображены яхты под парусами, и до сих пор сохранился на Завеличье, у бывшего Ольгинского моста), уже были арестованы офицеры (и в их числе те, кто сидел по домам, сторонясь и белых и красных), когда отец решил пройтись по Сергиевской, соскучившись клеить свои скрипки.

У него не было штатского пальто, и он надел шинель, с которой, вернувшись из полка, своими руками спорол погоны. Никто его не останавливал - казалось, что повода не было, а сам он ничего и никого не боялся.

Он ушел, а час спустя явились перепуганные Бабаевы и сказали, что они собственными глазами видели, как отца арестовали и повели по Кохановскому бульвару, очевидно в тюрьму. Плохо было дело, и кончилось бы оно совсем плохо, если бы на другой день Юрий не приехал из Петрограда, К счастью, он приехал с двоюродным братом Алей Сыркиным, который был

командирован в Псков Чрезвычайной комиссией.

Аля был высокий, худой, с серовато-зелеными глазами, в которых мелькало подчас жесткое выражение. Нос у него был с горбинкой, лицо узкое, волосы рыжеватые, выющиеся, губы слегка полураскрыты. Пистолет в кобуре был пристегнут к солдатскому ремню, который туго стягивая его мальчишескую фигуру. Два года тому назад я видел его на свадьбе сестры - еще гимназистом. Сын очень богатого человека, владельца типографии, он в первые же дни Октябрьской революции взял из сейфа завещанные ему матерью драгоценности. Получая партийный билет, он выложил их на стол, весомо подтвердив таким образом свои политические убеждения.

Впоследствии я не раз виделся с ним. Он перешел на дипломатическую работу, стал дипкурьером, потом советником и объездил весь свет, не удивляясь ничему на свете. "Рим как Рим", - вернувшись из Италии, однажды сказал он мне в ответ на мои нетерпеливые расспросы...

Не знаю, куда отправился, с возмущением пробурчав что-то неопределенное, Аля, но часа через два отец вернулся домой. У него был озадаченный вид. Он провел ночь в битком набитой камере, не спал и теперь, плотно пообедав, завалился в постель. Проснувшись, он все рассказывал о каком-то бароне, который лежал рядом с ним на полу, оборванный и голодный. Барон этот - молодой человек - был самой заметной фигурой среди немецкого офицерства. Еще недавно он носил богатую шинель с серебристым меховым воротником, что не полагалось по форме, и повсюду появлялся с какой-то приезжей красавицей актрисой. Из-за нее-то он и остался в Пскове, хотя легко мог уйти с белыми, - вот чем был озадачен отец. "Дураком, дураком, дорогой мой", - жалея барона, говорил он. Это значило, что надо быть дураком, чтобы рисковать жизнью из-за актрисы.

В декабре восемнадцатого года приехал из Москвы Лев, похудевший, в болтавшемся на нем полушубке, в некрасивой меховой шапке с ушами,- и для меня это был первый день новой, неведомой жизни.

Еще в пятнадцатом году он перевелся в Москву на медицинский факультет университета. С первых студенческих лет он наотрез отказался от помощи родителей, позволив присылать ему только гильзы и табак - это стоило дешевле, чем папиросы. В Петрограде он жил на стипендию - 200 рублей в год - и уроки. В Москве, где жизнь была дороже, нанялся собирать объявления торговых фирм, магазинов и ресторанов - они печатались на больших транспарантах, которые развешивались в почтовых отделениях, в парикмахерских, в столовых.

Потом он стал "нянькой душевнобольного", как он называет себя в своих воспоминаниях. Не оставляя ни днем ни ночью своего сорокалетнего пациента -образованного человека, прекрасного пианиста, он играл с ним в шахматы, помогал собирать коллекцию спичечных коробок, соглашался, когда сумасшедший утверждал, что он - московский градоначальник, сочувственно выслушивал соображения о том, что Полина Виардо отравила Тургенева,- и гонялся за своим пациентом по всей Москве, когда тот с неожиданной быстротой на ходу вскакивал в пролетающий трамвай. Сумасшедший - сын богатого человека - любил проводить вечера в ресторанах и кафе-шантанах, и таким образом Лев познакомился с жизнью, о которой знал до той поры сравнительно мало. Случалось, что пациент в бешенстве набрасывался на свою "няньку", и тогда Льву "не очень хорошо спалось" рядом с ним, в комнате, которую приходилось запирать на ключ, чтобы больной не сбежал из дома. Работа оплачивалась превосходно, но брат уволился через два месяца. Август Летавет, который устроил его на эту должность, продержался только полтора.

Зато в следующем учебном году - девятьсот шестнадцатом - материальные дела неожиданно устроились, и, как надеялся Лев, надолго. Он готовил в гимназию мальчика из богатой семьи, и отец этого мальчика однажды предложил ему пойти в Английский клуб на Тверской, где в то время был именно клуб и играли в карты. Почему, рассказывая эту историю, брат пишет в

своих воспоминаниях, что он никогда до той поры не играл в карты на деньги? Играл. Я помню вечер на студенческих каникулах, должно быть, тринадцатого года, когда компания офицеров затеяла (к неудовольствию мамы) игру в шмен-де-фер ("железку"), одну из самых азартных. Вечер запомнился мне потому, что, пока меня не отправили спать, я неотрывно следил за братом - остальные участники меня не интересовали. Сначала он проиграл, и, очевидно, немало. Он смеялся, шутил, но я за этой искусственной веселостью чувствовал огорчение, которое понимал так остро, как будто мне каким-то чудом удалось превратиться в брата. Он не прекратил игру, только ставил все меньше и, дождавшись, когда банк перейдет к нему, стал метать. Карты так и летели из его крепких рук. Теперь мне стало казаться, что он приказал себе выиграть, и действительно брал ставку за ставкой.

Нечто подобное произошло, очевидно, в Английском клубе. Он проигрался, хотел уйти, его уговорили остаться, и Лев встал из-за стола с пятью тысячами - громадной для него, почти фантастической суммой.

Теперь, когда можно было не думать о заработке, он стал энергично заниматься в клиниках медицинского факультета. Его учителем был знаменитый Дмитрий Дмитриевич Плетнев, с которым он постоянно ссорился и спорил. Давно решено было кончить не только медицинский, но и физико-математический факультет, последние экзамены по естественному отделению не были сданы в Петрограде. Лев обратился к ректору, получил отказ и поехал к министру народного просвещения. В своих воспоминаниях он рассказал о том, как принял его министр: "При входе в зал стоял небольшой стол, за которым сидел секретарь. Он спросил меня только о том, имею ли я в письменной форме свою просьбу, и просил пройти в зал. Там, на стульях, расставленных вдоль стен, сидели человек сорок. Ровно в 12 часов в зал вошел министр, сопровождаемый молодым человеком, по-видимому секретарем. Министром в то время был граф Игнатъев, об относительном либерализме которого в то время много говорили. Довольно высокий, очень стройный, спокойный, он подходил по очереди к каждому посетителю, тот вставал и минуту-две излагал свое дело. Министр брал его заявление, писал на нем резолюцию и передавал секретарю. Дошла очередь и до меня. Я изложил ответ ректора на мое желание учиться на двух факультетах. Игнатъев улыбнулся, написал на моем заявлении "принять" и подошел к следующему просителю. Прием почти 50 человек занял не более полутора часов".

Государственные экзамены по физико-математическому

факультету Лев сдавал "под гром Октябрьских пушек".

"Очень трудно было добраться до университета,- пишет он,- почти все подступы к нему обстреливались... Все мысли - и экзаменаторов и экзаменующихся - были весьма далеки от сдаваемых предметов. Может быть, это способствовало в какой-то степени моим пятеркам. Получить диплом 1-й степени со званием кандидата биологических наук было весьма приятно".

Прощаясь с Плетневым, он сказал ему, что решил работать санитарным врачом. Плетнев пожал плечами.

- Да полно, это не для вас,- сказал он и щелкнул по мальтийскому кресту, который брат стал носить после окончания университета. -Биологическая подготовка - вот что важно. Надоест санитария, приходите ко мне.

"Но судьба,- пишет брат,- повела меня по другому пути".

2

Он любил родных: одних - больше, других - меньше. Тех, кто добился в своей жизни заслуженного успеха,- больше. Тех, кто мог бы добиться, но не успел или не захотел,- меньше. Он переоценивал значение успеха.

Была в его характере холодность, стремление не жертвовать своими интересами для других. Но в трудных (для других) обстоятельствах он был великодушен, а в трагических - энергично и самоотверженно добр.

Когда мать постарела, а семья обеднела, он оказался главой нашего дома, и этот дом мешал ему, висел на ногах. Надо было что-то изменить, перекроить, перестроить. Надо было перевезти этот старый, развалившийся дом в Москву, где у него была выигранная в карты (как он шутил) квартира на Второй Тверской-Ямской. И где, как он надеялся, образовался бы новый дом, у него под боком, дом, который мог сам позаботиться о себе.

...Юрий давно увез жену и дочь в Петроград. Саша еще не вернулся, и предполагалось, что, окончив гимназию, он поедет прямо в Москву. Перевезти, стало быть, надо было только мать и меня. Отец заявил, что он остается в Пскове.

- Большевики, меньшевики,- сказал он, когда я зашел в его комнату, заваленную музыкальными инструментами и похожую на пропахшую клеем и лаком столярную мастерскую. - Не знаю, не знаю, дорогой мой! Армия есть армия. Полк - это полк. В каждом полку должен быть военный оркестр.

И он взял со стола дирижерскую палочку из черного дерева,

украшенную слоновой костью,- подарок любителей музыки к его двадцатипятилетнему юбилею. Палочка была тяжелая, он дирижировал другой, тонкой и легкой.

- Она мне еще пригодится,- сказал он.

3

Не думаю, что в этой книге мне удастся найти другое место, чтобы окинуть одним взглядом жизнь отца. Между тем эта книга была бы далеко не полна, если бы я не рассказал о его судьбе хотя бы на нескольких страницах.

...Самый большой в городе граммофон с трубой, на которой была нарисована наяда, стоял в доме полковника Черлениовского. Механическое пианино исполняло концертный вальс Дюрана, который, как сказал мне Саша, был по плечу только Падеревскому, да и то - когда он был в ударе. Вольнонаемный регент тюремной церкви получал от полковника ценные подарки.

В городе говорили - и это было самое поразительное,- что у Черлениовского есть даже скрипка работы знаменитого мастера Никколо Амати, хранящаяся в стеклянном футляре. Когда в Псков приезжал Бронислав Губерман, полковник разрешил ему поиграть, но Губерман взял только несколько нот, а потом посоветовал Черлениовскому время от времени открывать футляр - скрипка могла задохнуться. "Скрипки дышат,- будто бы сказал он,- а когда перестают дышать, они умирают, как люди".

Отец вечно возился со скрипками, разбирал их, клеил; его усатое солдатское лицо становилось тонким, когда он, как врач, выслушивал лопнувшую деку. Он не верил, что у полковника настоящий Амати.

- Не Амати, не Амати, дорогой мой,- говорил он. Не Амати.

Но когда после голодовки политических Черлениовского перевели в Тверь и он умер, не перенеся понижения в должности, его приемная дочь, горбунья, однажды появилась на нашем дворе. Она была в трауре. В прихожей она откинула креп, и показалось бледное тонкое лицо с маленьким опустившимся ртом. Надменно закинув ушедшую в плечи головку, она стояла в прихожей. Отец вышел, и она сказала звонко, как бы насмешливо:

- Я пришла предложить вам скрипку Амати.

Родители разговаривали долго, ночами. Даже если бы удалось продать какие-то страховые полисы, у нас было мало денег, чтобы купить эту скрипку. У нас было только тысяча

пятьсот рублей, отложенных на приданое для Лены.

И все-таки отец считал, что скрипку надо купить. Мама сердилась, но неуверенно: в глубине души ей нравились необъяснимые увлечения.

Скрипку купили. Она была темная, изящная, небольшая и вовсе не в стеклянном, а в самом обыкновенном потертом футляре - это меня огорчило. Отец ходил по квартире веселый, с торчащими усами. У него был праздничный вид. На внутренней стороне деки он показал мне неясную, сливающуюся надпись: "Amati fecit". Это означало: "Сделал Амати". Жизнь отца была наконец полна; у него были семья, армия и скрипка Амати.

Первой стала рассыпаться семья. Ему хотелось, чтобы дети служили в армии и, как он, играли почти на всех инструментах. Это было, по-видимому, невозможно. Лена прекрасно играла на виолончели - у нее было редкое туше, но служить в армии она, разумеется, не могла. Саша, которого он любил меньше других, играл на рояле - самый этот инструмент не имел никакого отношения к службе. Лев, которого он старался сделать виртуозом, не только бросил скрипку, но поступил в университет, а не в Военно-медицинскую академию.

Мама всегда знала и понимала то, чего он не понимал и не знал. Она любила, например, говорить о Достоевском. А отец был простой человек, не читавший Достоевского, но зато обладавший абсолютным слухом.

- Ля-ля-ля, говорил он, когда в тишине летнего вечера копыта цокали мягко и звонко и слышались еще долго, до самой Застенной, где кончалась булыжная мостовая.

Постепенно он стал чувствовать себя в семье хуже, чем в музыкантской команде. Там все было ясно. Кларнет играл то, что было ему положено, ударные инструменты, которым отец придавал большое значение, вступали не прежде, чем он давал им знак своей палочкой.

В семье же все было неопределенно, неясно. Деньги уходили неизвестно куда, гостей было слишком много. Дети интересовались политикой, которая в сравнении с армией и музыкой казалась ему опасной и ничтожной.

- Начальство, начальство, дорогой мой, - говорил он, - политикой должно заниматься начальство.

Мать развелась с ним вскоре после революции, когда стал возможен односторонний развод. Он бы не согласился. Он любил ее. Жизнь без постоянных ссор с ней, без ее высокомерия, гордости казалась ему пустой, неинтересной.

Она уехала от него, но когда в конце двадцатых годов они оба оказались в Ленинграде, отец стал заходить к ней -

посоветоваться или просто когда ему становилось скучно. И мама советовала, настаивала, сперва насмешливо, потом добродушно. Она не раскаивалась, что развелась с ним. Она говорила, что, если бы это было возможно, она развелась бы на другой день после свадьбы.

У детей теперь были дети. Сыновья женились не так и жили не так, как надо. Он не знал, как надо, но все же было совершенно ясно, что они жили как-то не так. Он любил их. У него не было денег, но время от времени он делал им дорогие подарки. Словом, с семьей было кончено. Зато с армией все было как нельзя лучше.

- Армия - это все! - любил говорить он.- Сыт, одет, обут. И порядок, главное - порядок.

Когда перед первой мировой войной сокольскую гимнастику заменили военным обучением, он ходил на плац посмотреть, как мы с Сашей маршируем, и однажды, с бешенством выкатив глаза, закричал мне:

- Ногу!

Накануне Великой Отечественной войны он еще служил в свои семьдесят два года. Его оркестр был лучшим в округе, и только какой-то знаменитый Белецкий считался более опытным капельмейстером, чем он. Он сочинил военный марш, который записали на граммофонную пластинку. Марш был ужасный. В одном месте барабан заглушал все другие инструменты, и каждый раз отец подробно объяснял мне, как это случилось: барабан поставили слишком близко к записывающему аппарату...

Полк стоял в Стрельне, и, приезжая из Стрельны, отец вспоминал, что ему всегда хотелось жить за городом, на свежем воздухе, чтобы перед домом росли кусты, по возможности полезные - крыжовник, малина,- а на дворе расхаживали куры. Но вот однажды командир полка пришел на сыгровку, и отец, скомандовав "смирно", отрапортовал ему о состоянии своей музыкантской команды согласно уставу, утвержденному в 1892 году императором Александром III. Командир полка отправил его на гауптвахту, и смертельно оскорбленный отец подал в отставку, несмотря на мои уговоры.

Теперь у него осталась только скрипка Амати. Он женился вторично - от скуки. Но стало еще скучнее, хотя жена была красивая, сорока пяти лет, с большими бараньими глазами. С ней нельзя было спорить - она соглашалась. Нельзя было скандалить - она начинала плакать. Она скоро поняла, что с ним невозможно жить, но все-таки жила, потому что больше ничего не оставалось. Скрипку Амати, по ее мнению, надо было продать.

- Дурак!- отвечал ей с презрением отец. Это было обиднее,

чем "дура".

Дальний родственник, флейтист, томный красавец с выющейся шевелюрой, приехал из Свердловска и сказал, что скрипка хорошая, но не Амати. Амати делал изогнутые скрипки, с высокой подставкой. Они и теперь еще ценятся, но не очень, потому что у них тон глуховат для современного концертного зала. А это не Амати. Он видел точно такую же у одного любителя, и тот показывал ее именно как подделку.

У отца был осунувшийся вид, когда я пришел к нему через несколько дней. Скрипка висела на прежнем месте. Он старался не смотреть на нее.

- Шваль, шваль, шваль музыкант! - сердито сказал он, когда я спросил о флейтисте.

Он пожаловался, что по радио редко передают духовую музыку, и мы написали открытку в Радиокomitee с просьбой, чтобы передавали почаще.

Через несколько дней он умер - от паралича сердца, как объяснили врачи. Зеркало было завешено, окна распахнуты настежь. Все входили и выходили. К вечеру мы остались одни. Он лежал, как будто прислушиваясь, матово-бледный, с лицом древнего воина. Дюжий гробовщик вошел, стуча сапогами, и вытащил из-за голенища метр.

- Ваш старик? - гулко спросил он.

Я ответил:

- Мой.

4

Очевидно, мои математические познания остановились на том уровне, до которого довел их Леша Агеев, потому что, пытаясь осенью 20-го года поступить в Петроградский политехнический институт, я сумел провалиться по алгебре, не решив задачу из курса шестого класса. Тогда же Люба Мознаим на экзамене по истории Анну Иоанновну назвала Анной Ароновной, вспомнив, по-видимому, известного в Пскове зубного врача.

В этих неудачах не было ничего удивительного, потому что зимой восемнадцатого года, забросив учебники, мы энергично принялись за общественную работу. Чуть ли не каждый день я выступал с речами и, не отличаясь находчивостью, научился все же говорить уверенно и свободно.

Больше я не защищал латынь, тем более что однажды

встретил Бекаревича в рясе. Я поклонился, но он в ответ только злобно скосил свои пронзительные маленькие глазки. Крепенький, коренастый, он шагал твердо, с большим крестом на груди. Очевидно, он кончил не университет, как другие учителя, а духовную семинарию, и разумно решил в тревожные дни вернуться к заброшенному делу.

Школьный журнал, в котором любой гимназист или реалист мог критиковать степень подготовленности учителей и методику их преподавания, - вот что меня теперь занимало! И нам действительно удалось напечатать первый номер, весьма содержательный, с моей точки зрения. Но заведующий горono, молодой эстонец, которому мы с гордостью принесли наш журнал (не помню, как он назывался), холодно перелистал его и сказал, что в нем слишком много лирики и мало политического осознания событий.

Я выступал с речами на собраниях, со стихами на литературных вечерах, и мне казалось, что мои речи и стихи - все, что я говорю и пишу, не может быть пустым, легковесным, ничтожным. Это было рано проснувшееся честолюбие, которого я не замечал, но приходил в бешенство, когда его замечали другие. Везде мне хотелось быть первым. Это было нетрудно в гимназии, где к нашему комитету теперь относились так, как будто он немало сделал, чтобы белые были выбиты из Пскова. Но это было невозможно в нашей компании, где надо мной подсмеивался Толя, где меня легко срезал скептический Саша Гордин, где со мной из вежливости соглашалась Женя Берегова и где добродушно помалкивала в ответ на мои парадоксы скромная Люба Мознаим.

И только Валя знала, что в классе, в компании я был одним: самоуверенным, хвастливым, стремившимся доказать свое особенное значение, а с ней - совершенно другим: сомневающимся, раздумывающим, терзавшимся мыслью, что я не так говорил и не так поступил.

Как и прежде, мы встречались почти каждый день, но теперь между нами началась совсем другая полоса отношений.

Валя кончила восьмой, педагогический класс и пыталась устроиться преподавательницей в той же Мариинской гимназии. Эта сцена была разыграна в лицах: сперва она изобразила мадам Тубенталь в длинном черном платье, из которого торчали кое-как собранные острые кости, потом себя, присевшую в низком, почтительном реверансе. Мадам величественно отклонила просьбу: в ее глазах репутация Вали была не вполне безупречной.

Днем Валя помогала матери, а вечерами спешила в театр - устроилась билетершей. Теперь я забегал к ней по утрам - в

гимназии мы занимались по-прежнему во вторую смену.

...Казалось, что это было очень давно - поездка в Череху, заколдованный лес, крестьянка, встретившая нас как жениха и невесту. Больше мы не говорили о любви. Я согласился - хотя это было очень трудно - с убеждением Вали, что полная близость возможна только в замужестве: тогда мы еще не знали, что этот измучивший нас обоих запрет навсегда разлучит нас зимой девятнадцатого года в Москве. Я согласился, потому что это была особенная женская правота, с которой я не только должен был, но мне хотелось считаться.

5

...Вспоминая об этой поре, я вернулся к произведениям, посвященным первой любви (начиная с "Ромео и Джульетты"), и передо мной в их бесчисленном множестве остро заблестел маленький рассказ Достоевского, о котором, кажется, писали немного. Я говорю о "Маленьком герое. Из неизвестных мемуаров".

В юности я прочел Достоевского не отрываясь, с разбега - и отложил в сторону, как бы почувствовал, что для меня он еще весь впереди, что я еще не раз и не два буду к нему возвращаться. И конечно же возвращался - студентом даже писал о композиции "Бесов", а потом всю жизнь не просто читал, неторопливо вглядываясь, как читаю всегда, а вдруг кидался к нему, останавливался на любимых сценах, спешил, точно "Братья Карамазовы" или "Идиот" были даны мне тайно, на два-три дня, и надо читать их не отрываясь, ночами, чтобы поскорее вернуть.

На первый взгляд не было ни малейшего сходства между историей, которая рассказана в "Маленьком герое", и тем, что происходило между мной и Вале́й.

Одиннадцатилетний мальчик, о котором написан рассказ, ничем не походил на меня, хотя, быть может, и я в припадке вспыльчивости, дерзости, беспамятства мог решиться на отчаянный шаг. И спокойно-энергичная, склонная к разумной уравновешенности Валя могла бы, пожалуй, служить примером душевного контраста, если сравнить ее с m-me M., с ее "тихими, кроткими чертами, напоминавшими светлые лица итальянских мадонн".

Но вопреки этому очевидному несходству - сходство было, и не только внешнее, но и внутреннее, скрытое. В "Маленьком герое" с непостижимой силой написана свежесть чувства,

испытанного впервые. Это даже не чувство, а предчувствие чувства, которое не может осуществиться. И не потому, что одиннадцатилетний мальчик влюблен в молодую женщину, а потому, что весь строй, весь замысел этого предчувствия основан на воображении. Душевная драма развернута на фоне другой любви, между взрослыми,- любви, которую "маленький герой" разгадывает еще до той минуты, когда случайность помогает ему спасти m-me M. от позора, от душевной казни. И прикосновение к чужой тайне не страшит мальчика, потому что любовь той, которую он любит, для него - святыня.

Сонеты Петрарки, посвященные Лауре, в которых любовь побеждается целомудрием, а целомудрие - смертью, невольно вспоминаются при чтении этого рассказа. И подумать только, что Достоевский написал его в Петропавловской крепости, в ожидании суда над петрашевцами, в ожидании, может быть, казни! Уж не крепостные ли стены вернули ему зоркость детского зрения, остроту первой встречи с самим собой, чувство изумления перед зрелищем детской души, всей сложности которой взрослые не замечают?

Именно здесь-то и открывается та внешняя сторона, о которой я упомянул, говоря о "сходстве вопреки несхождению". Чувство первой любви стеной одиночества отделено от постороннего взгляда. И хотя любовь "маленького героя" названа - и названа грубо, она остается неразгаданной, почти неразгаданной. Никому, кроме m-me M., и в голову не приходит заглянуть в бездонную пропасть, трагически разделяющую детство и зрелость, возмужание души и трезвость устойчивого, равнодушного существования.

...Никто не знал, не подозревал, какие сложности нагородил я в своих отношениях с Валей,- не даром же я всегда лучше воображал, чем соображал! В глазах взрослых я просто "ухаживал" за ней, как ухаживали гимназисты за другими гимназистками, как ухаживал, например, с неизменным успехом Саша. Но я не "ухаживал" - самое слово это казалось мне пошлым. Мне было весело видеть, как разгоралась, расцветала Валина обыкновенность в свете моих странностей и чудачеств! Я верил, а может быть, не верил, а выдумывал, что она сродни героиням моих фантастических трагедий в стихах.

И не одну ее я выдумал, а выдумав - поверил и не поверил. Толпа видений мерещилась мне, воплощенная в действительность, которая была бы ни на кого и ни на что не похожа. Мне чудилось, что, если я не сумею участвовать в создании того "ломающегося в века и навсегда принятого в них, небывалого, невозможного государства" ("Охранная грамота"

Пастернака), я попытаюсь создать свой собственный мир, в котором выдуманные действующие лица будут существовать с такой же физической зримостью, как живые.

...Если бы в ту пору мне встретился человек, который понял бы меня тогдашнего, как я себя теперь понимаю, что изменилось бы в моем душевном мире? Ничего. Я бы ему не поверил.

6

Я уже упомянул о том, что даром предвидения Лев не обладал. Он не знал, что через полгода добровольно отправится на фронт в составе штаба Девятой армии. Он не знал, что новый московский дом развалится бесконечно скорее, чем старый. Может быть, он действовал так решительно - более того, беспощадно - потому, что смутно чувствовал грозящую нашей семье опасность. Город, от которого белые стояли в тридцати - сорока верстах, был, в сущности, полем сражения. В девятнадцатом году белые искали меня и, пожалуй, вздернули бы, хотя я не был ни большевиком, ни комсомольцем. Вместо меня был арестован и отпущен гимназист К., впоследствии - делегат 3-го съезда комсомола. В двадцатом, в Ленинграде, он сам рассказал мне об этом.

...Что-то новое, незнакомое показалось мне в облике и в поведении старшего брата. Можно было подумать, что он раздвоился, послав в Псков своего двойника,- и этот двойник, легко раздражавшийся, не терпевший возражений, беспокойно-торопливый, был удивительно не похож на него. Впрочем, однажды я видел его таким. Сдавая экзамены на аттестат зрелости и получив двойку по латыни, он держался так, как будто весь дом был виноват в том, что он провалился.

Наконец он заметил меня - кажется, только по той причине, что именно я должен был первым отправиться вместе с ним в Москву: мама собиралась приехать к весне. Волей обстоятельств, которые он стремился упорядочить возможно быстрее, я попал в поле его зрения, и он впервые окинул меня трезвым, оценивающим взглядом. То, что я писал стихи и даже трагедии в стихах, интересовало его очень мало. Я был крепок, здоров и, по всей видимости, не трус - ничего другого от меня не ждали. Чем я намерен был заниматься после окончания гимназии, он не спросил - и хорошо сделал, потому что едва ли я внятно ответил бы на этот вопрос. О моем ближайшем будущем он сам рассказал мне - скупое, но с исчерпывающей полнотой. Он спросил, умею ли я мыть полы и стирать белье,- и сдержанно кивнул, когда я ответил, что не умею, но буду.

Моя общественная деятельность не очень заинтересовала его, а когда я расхвастался, он спросил, усмехнувшись:

- Так ты тут, стало быть, персона грата?

Потом, перед отъездом, когда речь зашла о билетах, достать которые было почти невозможно, он снова спросил, уже иронически:

- Может, поможешь? Ведь ты тут персона грата.

Но некоторых обстоятельств он не предвидел и о том, как вести себя в этих обстоятельствах, не подумал.

Я не сомневаюсь в том, что он просто забыл о дяде Льве Григорьевиче, который по-прежнему жил в маленькой комнатке и по-прежнему "развивал руку", мечтая о предстоящем концерте.

Летом восемнадцатого года дядину пианино пришлось променять на окорок и два мешка сухарей, и немалая клавиатура, которую он некогда возил с собой, чтобы в турне развивать руку, была извлечена из чулана. Вот когда можно было играть, решительно никому не мешая! Он играл в темноте, в холодной комнате, с закутанными старым пледом ногами. Слышен был только стук клавиш.

Его давно не интересовало то, что происходило вокруг. Пришли и ушли немцы. Herr Oberst недурно играл на рояле, но дядя не пожелал познакомиться с ним. Пришли и ушли белые. Пришли красные. В этом мире, где все менялось, куда-то летело, перекрещивалось, сшибалось, он один был воплощением неподвижности, неизменности.

Нянька, от которой пахло самогоном, приходила убирать его комнату, ругаясь, мыла его, жаловалась на своего актера. Кто же будет ухаживать за ним в Москве, в маленькой, пустой, с инеем на стенках, квартире?

Лев разговаривал с мамой тихо, долго - и она вышла из своей комнаты взволнованная, измученная, с похудевшим, постаревшим лицом.

Дядю решено было поместить в Дом призрения. Я ужаснулся. В Дом призрения, где кормили только щами из замерзшей капусты, где он будет жить в одной комнате с таким же, как он, беспомощным стариком! Почему нельзя было договориться с нянькой, чтобы она продолжала ухаживать за дядей? Ведь он был очень болен, слаб и едва ли протянул бы больше года... Не знаю. Все, что требовал или советовал Лев, становилось неоспоримым и должно было осуществиться быстро и бесповоротно.

Когда мама, приняв лавровишневые капли, пошла к дяде, я убежал из дома.

Директор Дома призрения, несмотря на хлопоты, решительно запретил перевозить немую клавиатуру - для нее в тесной комнатке не было места. Дядя уехал, а клавиатура осталась - узенькая, черная, с пожелтевшими клавишами. Старинные

фотографии висели на стенах - Друскеники, Баден-Баден. Дамы в белых кружевных платьях, в шляпах с большими полями сидели под зонтиками в саду. Дядя, в коротком пиджаке с закругленными лапами, в канотье, небрежно откинута на затылок, с тростью в руке шел по аллее...

Он никогда не жаловался, ничего не требовал. Никто почти не замечал его присутствия в доме. Но вот его увезли, и дом опустел. В маленькой комнате, и прежде почти безмолвной, наступила полная тишина - странно-требовательная, заставлявшая всех ходить с виноватыми лицами, а Льва - решительно подавлять в себе сознание, что он виноват больше всех.

Через несколько дней дядю привезли домой умирающим, почти без сознания. Он умер, когда я сидел подле его постели. Вздохнул с облегчением и закрыл глаза.

7

Черный отцовский полушубок был коротковат мне, а в плечах - широк. Он был сильно потерт, и потом, уже в Москве, я замазывал чернилами те места, где проступала грязно-серая кожа. Из других запомнившихся вещей я взял с собой плащ-крылатку, застегивавшуюся на медную цепочку с львиными, тоже медными мордами, в которых были спрятаны петля и крючок. Крылатка была из толстого сукна, с клетчатой изнанкой. Служа мне (весной и осенью) шинелью, она была неизменным спутником моей внутренней жизни. Кем только не воображал я себя в этой крылатке! Иногда я просто стоял где-нибудь на пустынной улице в сумерках, закинув одну полу на плечо и дожидаясь, когда случайный прохожий заметит мою таинственную фигуру. Прохожие замечали и, случалось, опасливо обходили меня.

Весело посвистывая, укладывал я свой чемодан. Прощай, Псков! Гардероб был небогатый. Кроме крылатки, запасной серой рубашки с гимназическими пуговицами, пары брюк из чертовой кожи и белья я положил на дно чемодана тетрадку стихов, переписанных Валеи, две трагедии и рукопись первого рассказа.

Я давно пытался перейти на прозу - еще когда Юрий сказал мне, что "в тринадцать лет все пишут такие стихи". Для начала мне показалось полезным записывать застольные разговоры. Но едва ли могли они пригодиться для будущей прозы! Мама говорила о знаменитой пианистке Бариновой, игравшей в почти пустом зале, Саша - о какой-то бородатой женщине Юлии

Пастрана или о новостях техники, вычитанных из сборника "Знание", старшая сестра - о том, что труппа Гайдебурова напрасно поставила "Гамлета", и т. д. Каждый говорил о своем.

Я сравнил свои записи с разговорами в романах Тургенева и Гончарова. Ничего общего! По-видимому, разговоры надо было не записывать, а сочинять, и рассказ, который я взял с собой в Москву, весь состоял из воображаемых разговоров.

Прощай, Псков! Из книг я увозил "Фауста" и сборник "Стрелец". Первую часть "Фауста" я знал почти наизусть, вторую прочитал через много лет в переводе Пастернака. Футуристический сборник "Стрелец", в котором были напечатаны стихи Маяковского и Бурлюка, я купил на книжном развале. Бурлюк писал:

Мне нравится беременный мужчина.

Лишь он хорош у памятника Пушкина.

Я был поражен - не стихами, которые мне не понравились, а тем, что эти поэты жили и писали, не думая о том, что одновременно с ними живет и пишет Александр Блок. Это было открытием...

Прощай, Псков! В гимназии письмоводитель Никитин выдал мне свидетельство об окончании пяти классов. Мне показалось, что на его грубом бородатом лице мелькнуло удовлетворение.

С Валея я стал прощаться в тот день, когда было решено, что Лев берет меня с собой в Москву. Накануне отъезда заглянул - входная дверь была почему-то открыта - и застал Валею спящей. Свет зимнего солнца косо летел через комнату прямо к ней, она ровно дышала - и не проснулась, когда я вошел. Впервые в жизни я увидел ее спящей. Прикрытая знакомой старенькой шалью, она уютно подогнула колени, подложив обе руки под разгоревшуюся смуглую щеку...

Летом семнадцатого года, уезжая на две недели к родственникам в Ростов-на-Дону, она оставила мне свои часики, и каждый вечер, ложась спать, я целовал их и клал под подушку. Теперь мы стали другими, и разлука предстояла совсем другая, ничего не обещавшая, неопределенная, безнадежная...

Долго сидел я, прислушиваясь к еле слышному дыханию. Тихо было, и если бы не солнечный свет, медленно передвигавшийся вдоль полосатой спинки дивана, можно было вообразить, что время остановилось и вместе со мной терпеливо ждет, когда Валя откроет глаза.

В день отъезда я рано встал, оделся, поднял штору - и мне почудилось, что я еще сплю: под окном стоял, раздеваясь, китаец. Утро было морозное, но он неторопливо снял толстую синюю кофту, потом заношенную рубашку, достал из мешка другую и стал натягивать ее на худые желтые плечи. Штаны на нем были тоже синие, простеганные, а на ногах - чуни, не пеньковые, а теплые, войлочные. Он переоделся, вздохнул и ушел.

Я побежал в гостиную, чтобы посмотреть на него из окна, выходившего на Гоголевскую,- и остолбенел. По Гоголевской шли китайцы - старые и молодые, с солдатскими мешками за спиной, мужчины - с косами, болтавшимися поверх мешков, женщины - с прическами, высокими, неприкрытыми, в подпоясанных халатах, и многие - с детьми, которых они несли за плечами, с трудом ступая маленькими, похожими на костылики, ногами. Откуда они пришли? Куда направлялись? У них был такой вид, как будто они явились в Псков, чтобы остаться здесь навсегда.

И днем, когда мы ехали на вокзал в санках, с чемоданами в ногах, с мешками на коленях, они все еще шли и шли во всю ширину Кохановского бульвара. Извозчик был знакомый, и Лев спросил о китайцах.

- Да кто же их знает? Нынче разве что разберешь? - сказал извозчик.-Говорят, их будут в армию брать. А баб куда? И какое из косастых войско?

Впоследствии я узнал, что в 1916 году по решению правительства десятки, а может быть, сотни тысяч китайцев были завербованы для работы на рубке леса, на фабриках и в портах. После революции, когда деньги потеряли цену, они разбрелись по всей стране. Одна из многочисленных партий в 1918 году ненадолго задержалась в Пскове.

...Не впервые я уезжал из дома, но это были поездки, начинавшиеся и кончавшиеся в Пскове и, быть может, поэтому оставившие чувство мимолетности, непрочности, необходимости возвращения.

Зимой 19-го года мы с Львом не ехали, а продирались в Москву. Мы продирались в здание вокзала, а потом, прождав четыре часа, продирались из здания к костру, который горел на площади. Мы продирались в вагон, а потом в другой вагон, потому что первый оказался неисправным.

Когда это продиранье, ругательства, тасканье вещей кончились, я увидел себя на полу, в коридоре, слабо освещенном свечой, которая горела в фонаре, висевшем над дверью. Дверь не закрывалась, хотя это была дверь в уборную. Ноги торчали со всех сторон, в сапогах, валенках, босые, и от одной корявой голой ноги мне приходилось то и дело отодвигаться, потому что она

лезла мне в лицо. Люди лежали, полулежали, сидели, полусидели, были скорчены, стиснуты и распластаны от потолка до пола. В уборную, из которой несло холодом и вонью, все-таки ходили.

Теперь мне казалось, что самый поезд с трудом продирается сквозь гудящие заслоны снега, сквозь черный свистящий воздух, морозный туман. Лев спал, прислонившись к мешку с картошкой, за который обеими руками держалась испуганная, измученная женщина. Во сне он не заметил, что с головы свалилась шапка, и мы долго искали ее, шарили среди вещей, заглядывали под нижнюю лавку. Он повторял жалобно: "Хорошая шапка". Но хорошая она была или плохая, страшно было и представить себе, как он без шапки доедет до дома, а нам предстояла еще пересадка. Соседи не ругались, сочувствовали, искали вместе с нами, и шапка наконец нашлась.

Не помню станции, на которой мы должны были пересестъ. Дожидаясь поезда, мы стояли, озябшие, усталые, грязные, на зашарканной платформе, когда к брату подошел худенький черненький солдатик в папахе с красной ленточкой, в длинной, не по росту, шинели, и сказал негромко:

- Идите за мной.

Чекисты, дежурившие на станции, заинтересовались братом - может быть, потому, что он действительно походил на офицера со своей плечистостью, твердой осанкой и манерой держать голову по-военному прямо? Он ушел с солдатом, я остался один - и боже мой, каким подавленным, испуганным, одиноким почувствовал я себя на этой продутой ледяным ветром платформе! Блок, трагедии в стихах, речи, персона грата, слава, которая войдет бесшумно и скажет: "Я - слава",- голодный, усталый, подавленный, подбадривавший себя мальчик стоял, грея руки дыханьем и не сводя глаз с чемоданов и мешков, как строго приказал ему брат.

Он вскоре вернулся и сказал, что все в порядке. Чекисты проверили документы, убедились в том, что он - не офицер, а заместитель председателя совета старост медицинского факультета, и сказали: "Можете идти".

Поезд подошел, и снова началась давка, толкотня, матерщина. Лев ругнул и меня - по его мнению, надо было энергичнее действовать локтями.

Нам повезло, в вагоне второго класса можно было растянуться на полу, подбросив под голову мешок. Я уснул, едва тронулся поезд...

Поразившие меня сны я стал записывать через много лет после того, как уехал из Пскова, в конце тридцатых годов. Сон,

приснившийся мне в поезде, запомнился потому, что он много раз повторялся - в вариациях, которые были одна грустнее другой. То я рисовал себя мелом на классной доске, а потом какой-то вежливый человек в визитке - может быть, Рудольф Карлович Гутман - подходил и, неопределенно улыбаясь, стирал меня с доски мокрой тряпкой. И я исчезал. То, спасаясь от преследователей, я прыгал с конки и летел прямо в пруд, разбивая собственное зеркальное отражение.

Каждый раз я раздваивался, и либо я, либо мой двойник стусевывался, стирался, и каждый раз я напрасно старался найти его, мучаясь тоской и надеждой.

Хлебников писал, что у человека два разума - дневной и ночной. Он не стал описывать их, очевидно полагая, что эта мысль не требует доказательств.

Мне кажется, что в ночном разуме сознание невольно возвращается к предчувствиям, преувеличениям и страхам, давно (или недавно) отброшенным при свете дня. Дневное "мне некогда" заменяется неторопливостью ночи. Прислушиваешься к шорохам, а слышишь далекую музыку прошлого.

Но в шестнадцать лет у меня еще не было прошлого. Откуда же взялся этот лихорадочный, перепутанный сон? Мне приснилось, что из Пскова я еду в какой-то маленький город и брожу там веселый, радуясь, что обманул кого-то и остался один. Потом спохватываюсь, что пора вернуться. Но как? Конка ушла, когда придет - неизвестно. Кто-то говорит: "Идите пешком". Я иду, но никак не могу выйти из города. Кажется, еще поворот - и за углом откроется наш дом, садик с молодой березой, у которой любили сниматься студенты, товарищи брата, дровяной сарай, где я напугал мальчика топором. Нет и нет. Тупики -и все чудится, что за мною кто-то идет. И вдруг я попадаю в толпу мужчин, которые, посмеиваясь, толкают меня от одного к другому. Толкают сильно, почти перебрасывают, коренастые, усаые, некоторые - в поддевах и ямщицких шапках. Я бегу от них через проходные дворы и знаю, что они бегут за мной. Это знают и те, кого я встречаю, но притворяются, что не знают, потому что я все равно обречен. У меня мелькает надежда, что все это снится, я бросаюсь к какому-то неопределенно доброму человеку и спрашиваю его: "Это сон?" Он молчит, и я понимаю, что, если он ответит, ему придется бежать вместе со мной. Он молчит, но мы уже бежим вместе, сперва по коридорам нежилого здания, потом по колодцу, который из вертикального становится горизонтальным, чтобы вдоль него было легче бежать. Колодец кончается щелью, заваленной мусором. Мы протискиваемся с трудом, прислушиваясь к приближающимся развязным,

беспечным голосам. Наконец становится тихо, мой спутник встает, его неопределенное лицо проясняется, и я вижу, что это - нищий, который прятался во дворе дома баронессы Медем, в ящике из-под рояля "Миньон". Он ведет меня в баню, я хочу раздеться, но меня уже нет. Здесь должны быть руки, здесь - ноги. Пусто. Не могу найти себя в курточке. Нищий тоже ищет меня, читая молитву, и не находит.

Я обрадовался, когда брат разбудил меня. Поезд приближался к Москве.

1970-1973

КОММЕНТАРИИ

Агаповская гимназия - частная гимназия М.И. Агаповой (дочери известного краеведа И.И. Василева, супруги городского головы) была открыта 1/IX 1903 г. Сначала гимназия размещалась в собственном доме Агаповых, позднее в доме на Сергиевской ул. (теперь на этом месте д.10 по Октябрьскому проспекту). Гимназия известна своей демократичностью.

Анастасиевский садик - сквер при ц. Анастасии Римлянки "в Кузнецях". Устроен в 1854 г. В 1890 г. огорожен металлической решеткой на гранитном основании.

Аптека Лурьи - располагалась в доме архитектора Гермейера, а затем в доме Гладкова, оба не сохранились, стояли на месте современной Октябрьской площади.

Балтийский кожевенный завод - кожевенный завод Русско-Балтийского акционерного общества располагался на Завеличье (территория современного радиозавода).

Ботанический сад - создан первым директором реального училища Н.И. Раевским для занятий учащихся по биологии. В 1875 г. городская дума отвела для него участок вдоль стены Окольного города от Великих до Сергиевских ворот. Официально открыт в 1878 г. До 1917 г. в него иногда пускали публику по билетам. Сейчас это часть парковой зоны города.

Булочная Шофф - третий дом от ц. Михаила архангела по Великолуцкой (ныне Советской) ул. Разрушен во время Великой Отечественной войны. Теперь на этом месте почтамт. Е. Шофф славилась как хозяйка лучших в городе булочных с пекарями.

Вольфрам... - книжный магазин Ю. Вольфрама располагался в доме Шофф.

Гоголевская ул. - древнее название Ивановская, современное - ул. Гоголя.

Гостиницы "Лондон" и "Палермо" - располагались рядом друг с другом по Сергиевской ул. (Октябрьский пр.) напротив здания госбанка. Дома не сохранились, сейчас на этом месте сквер Псковских партизан.

Государственный банк - Советская, 44. 1-й банк в Пскове. Был открыт в 1865 г. Специальное здание для него (арх. Э.А. Гермейер) построено в 1910 г. Сейчас в нем размещается музыкальная школа им. Римского-Корсакова.

Губернаторский садик - тенистый парк при губернаторском доме (ныне Октябрьский пр., д.7а), Детский парк.

Дом барона Медем на Сергиевской - усадьба Медем, вице-губернатора, а затем губернатора Псковской губернии, занимала

квартал между Губернаторской (Некрасова) и Гоголевской (Гоголя) ул. Сначала супруги жили в собственном доме на углу Губернаторской и Сергиевской (Октябрьский пр.), но вскоре переехали во вновь построенный дом (современный адрес - Гоголя,10). На втором этаже дома Медем на углу Губернаторской и Сергиевской с 1904 года почти 10 лет в нем снимала квартиру семья Зильберов.

Дом Лохова - в начале XX в. Лоховым принадлежало несколько домов. Два из них находились на углу Великолуцкой (Советской) и Плоской (Профсоюзной) напротив дома Гладкова, где располагался магазин музыкальных инструментов родителей Каверина (ныне Октябрьская площадь).

Дом предводителя дворянства на Кохановском бульваре - В. Каверин ошибся: на Кахановском бульваре (современный адрес - Октябрьский пр-т, 7а) находился дом губернатора. Название "Дом предводителя дворянства" (палаты на Романовой горе) закрепилось в Пскове за домом по ул. Советской (бывшая Великолуцкая) 52а. Здание построено в конце XVII в., но его верхний этаж значительно перестроен в XIX в. Использовалось как дом Дворянского собрания, в XX в. в нем располагался народный суд, общежитие, культпросветучилище, филармония.

Дом с мозаичным фасадом - ул. Конная, 1. Дом купца-старообрядца П.Д. Батова. Построен около 1913 г. Украшен декоративным панно из майоликовых плиток.

Застенная - (на плане Н.Ф. Окулича-Казарина) Стенная ул. - современная ул. Свердлова.

Кадетский корпус - ул. Некрасова, 23. Двухэтажное здание было построено в 1784-1788 гг. В результате его перестройки в 1854-1859 гг. появились третий этаж и боковые крылья. До 1824 г. в нем находились палаты гражданского уголовного суда, генерал-губернаторское управление, городской магистрат, губернский архив. С 1882 по 1917 г. в нем располагался кадетский корпус, после Октябрьской революции - советские военные учреждения, с 1920 - губком и губисполком. С 1925 г. здание получило название Дом Советов. В настоящее время в нем находится Администрация области и Областное собрание депутатов.

Казармы Иркутского полка - здание казарм Иркутского полка 24-й пехотной дивизии - Октябрьский пр., д.54 - возведены в 1834-40-х гг. Ныне - производственный корпус объединения "Псковмаш". Напротив казарм располагалась военная площадь, ограниченная Кахановским бульваром, Бастионной, Штабной и Вокзальной улицами. На нее садился в 1912 г. летчик С.И. Уточкин.

Казармы Омского полка - строительство казарм для 96 Омского пехотного полка началось в 1894 г. В середине 1895 военный городок на Завеличье вступил в строй. На ул. Мирной, д.1 расположен бывший полковой храм - ц. Александра Невского. Ряд лет капельмейстером полкового оркестра был А.А. Зильбер - отец В. Каверина.

Кинематограф "Модерн" - находился на Пушкинской ул.

Кирха - лютеранская церковь, находилась на углу Октябрьского пр. (бывш. Сергиевской) и ул. Некрасова (бывш. Губернаторской). Разрушена в годы Великой Отечественной войны. Сейчас на этом месте садик.

Колбасная Дайбер - располагалась в доме, находившемся на месте современной центральной аптеки.

Коммерческое училище - открылось в 1910 г. Располагалось в наемном доме Качева на Петропавловской ул. (дом находился на месте современного здания пединститута).

Кохановский (Кахановский) бульвар - устроен в 1868-1873 гг. псковским губернатором, позднее членом Государственного совета М.С. Кахановым. Сейчас это часть Октябрьского проспекта от Сергиевских ворот (Летнего сада) до Вокзальной улицы.

Крепостной вал - стены псковских укреплений, усиленные в петровское время сооружением земляных бастионов.

Кутузовский сад - открыт в 1847 на углу Губернаторской (Некрасова) и Архангельской (Ленина) и Садовой (Пушкина) улиц. Название не официальное, но прочно укоренившееся и отражает историю его создания. В апреле 1847 года, прибывший в Псков под видом ревизора разорившийся молодой помещик В. Фролов, представившийся статским советником, князем И.Л. Голенищевым-Кутузовым, очаровал администрацию и горожан, и смог по переписному листу собрать необходимую на устройство сада сумму, нанял рабочих и 1 мая новый сад был торжественно открыт. Но рабочим и подрядчикам, пришедшим за расчетом было сообщено, что ревизор отбыл по делам государственной важности и когда будет - неизвестно. Эта история произошла всего через 11 лет после первого представления комедии "Ревизор" Н.В. Гоголя. Каменная ограда поставлена в 1897 году. Сад сдавался арендаторам, устраивавшим увеселения. С 1903 года в нем играл оркестр А.А. Зильбера, отца В. Каверина. Летом 1908 года родители Каверина выступили организаторами детских праздников.

Летний сад - был открыт на средства, собранные по инициативе псковского губернатора М.С. Каханова (1868-1872), за что ему в 1872 г. было присвоено звание почетного гражданина Пскова. К 1875 г. он занимал территорию вдоль стены Окольного

города от Сергиевских до Петровских ворот (от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса). Была установлена ограда, отделявшая его от Кахановского бульвара (Октябрьский пр.). В 1898 г. в нем был построен по просьбе любителей музыкально-драматического искусства Летний народный театр, который открылся комедией А.Н. Островского "Женитьба Белугина".

Мариинская женская гимназия - открыта в Пскове в 1860 г. С 1868 по 1916 занимала второй этаж дома по ул. Гоголя 19. Новое здание Мариинской гимназии (Некрасова, 9) - современный технический лицей, было построено в 1916 г.

Мужская гимназия - учреждена в 1808 г. на базе существовавшего с 1786 г. главного народного училища. Сейчас - 1-я средняя школа. С 1817 по 1855 г. гимназия находилась в здании по Георгиевской ул., д.4. С 1855 г. в специально для нее построенном доме (ул. Калинина, 5).

На берегу Псковы, у решеток - имеются в виду нижние решетки, в месте впадения р. Псковы в Великую между Высокой (она же Воскресенская, Круглая, Взвозная) и Плоской башнями. В 1538 г. были сооружены итальянским архитектором деревянные решетки, в 1613 г. - каменные (сделаны псковскими каменщиками).

На углу Плоской и Великолуцкой - вывеска: "Бюро проката роялей и пианино" - магазин - "Депо музыкальных инструментов", где можно было взять инструменты и напрокат, принадлежал родителям В. Каверина - Зильберам и располагался в доме Гладкова на углу Сергиевской и Плоской ул. Дом разрушен в годы Великой Отечественной войны. Сейчас на этом месте Октябрьская площадь и сквер Псковских партизан.

Немецкое кладбище - лютеранское кладбище, находилось на правом берегу р. Псковы, у нового моста, на бывшей Кладбищенской (ныне продолжение ул. Кузнецкой на Запсковье). Заложено было в 30-е гг. XIX в. В 70-е гг. XX в. могилы, памятники и ограды были убраны, сделаны дополнительные посадки деревьев с целью превращения его в парк.

Новая женская прогимназия - прогимназия Н.П. Барсуковой. Размещалась, вероятно, в доме Брючанинова (Ольгинская наб., д.2).

Петровский посад - территория вдоль левого берега р. Псковы от Кузнецкой ул. (между Староновгородской ул., совр. ул. Толстого и р. Псковой). Получил название от Петровского конца. Сейчас о нем напоминает ул. Плехановский посад.

Плоская ул. - современная Профсоюзная ул. В начале XX в. площади не было и она продолжалась до Сергиевской.

"Псковский небоскреб" - дом Викенгейзера на Архангельской

ул. (ул. Ленина,5), построенный в 1881 г., был пятиэтажным: верхний этаж занимал резервуар городского водопровода. Он не был восстановлен после разрушений Великой Отечественной войны.

Псковский учительский институт - открыт в 1909 г., должен был готовить учителей для городских школ (для сельских их готовила учительская семинария). Являлось средним учебным заведением с трехлетним сроком обучения. Открылся в наемном доме на Завеличье, через два года был переведен в старое здание реального училища (на ул. Калинина, бывшей Успенской) - здание не сохранилось.

Раевский Н.И. - 1-ый директор реального училища, которое было открыто в 1873 г. на Успенской ул. в небольшом жилом доме (не сохранился). В 1877 г. Александр II разрешил сыну вел. кн. Сергею Александровичу принять покровительство над училищем. Оно стало называться Сергиевским. В 1889 г. городская дума отвела участок за Сергиевскими воротами для постройки нового здания для училища. Но деньги не его строительство были выделены в 1904 г., здание заложено в 1905 г. С 1907 г. реалисты занимались уже в новом здании (не сохранилось), которое находилось на Октябрьском проспекте, на участке от Сергиевских ворот до Кузнецкой ул. (там, где сейчас находится вход в Ботанический сад).

Сергиевская ул. - ныне часть Октябрьского проспекта от Октябрьской пл. до Сергиевских ворот (Летнего сада). Название получила по монастырю Сергия с Залужья.

Соборный сад - сад в детинце (на Кромю) был заложен в 1886 г. Первые деревья посадили вел. кн. Владимир Александрович, сын Александра II и его супруга Мария Павловна, прибывшие в Псков на открытие памятника Александру II. В 1905 г. к его обустройству и расширению были привлечены кадеты под опекой губернского земства. Сад пострадал в годы Великой Отечественной войны. Сейчас осталось несколько старых деревьев.

Степановский лужок - Стефановский лужок - луг в пойме р. Великой на Завеличье, к северо-западу от Ивановского монастыря. Назван по стоявшему там в древности Стефановскому монастырю. Излюбленное место отдыха псковичей.

Торговые ряды - располагались на территории современной пл. Ленина.

Троицкий собор - главный храм города. По преданию впервые на этом месте заложен княгиней Ольгой. Храм, сохранившийся до наших дней, третий или четвертый по счету, возведен в период с 1682 по 1699г. В конце XVIII в. в целях укрепления здания были

заложены галереи нижнего этажа и снаружи пристроены контрфорсы.

Часовня св. Ольги - стояла на берегу р. Великой, вблизи ц. Успения с Пароменья. Из-под нее бил Ольгинский ключ. Вблизи того места находится Ольгинская часовня современной постройки.

Черняковицы - местечко под Псковом, станция железной дороги Санкт-Петербург - Псков.

Это дом Назимова. Между окон доска: "Здесь временно проживал А.С. Пушкин". - мемориальная доска такого содержания действительно висела на дома, расположенном на перекрестке Стенной (Свердлова) и Сергиевской (Октябрьского пр.) улиц. Но современные изыскания показывают, что этот дом (И.И. Тульчиева) никогда не принадлежал Назимовым. По-видимому, тем домом, который посещал А.С. Пушкин является здание, известное псковичам как дом предводителя дворянства (Советская, 52а). Это каменная средневековая постройка, значительно реконструированная в XIX в.

Автор комментариев - кандидат исторических наук З.А. Тимошенко.

При составлении комментариев использованы "Спутник по Древнему Пскову" Н.Ф. Окулича-Казарина, "Псков через века", работы Н.Ф. Левина, Н.Н. Новиковой, Л.А. Огневой. Автор выражает благодарность за консультации М.Т. Марковой, А. В. Филимонову.